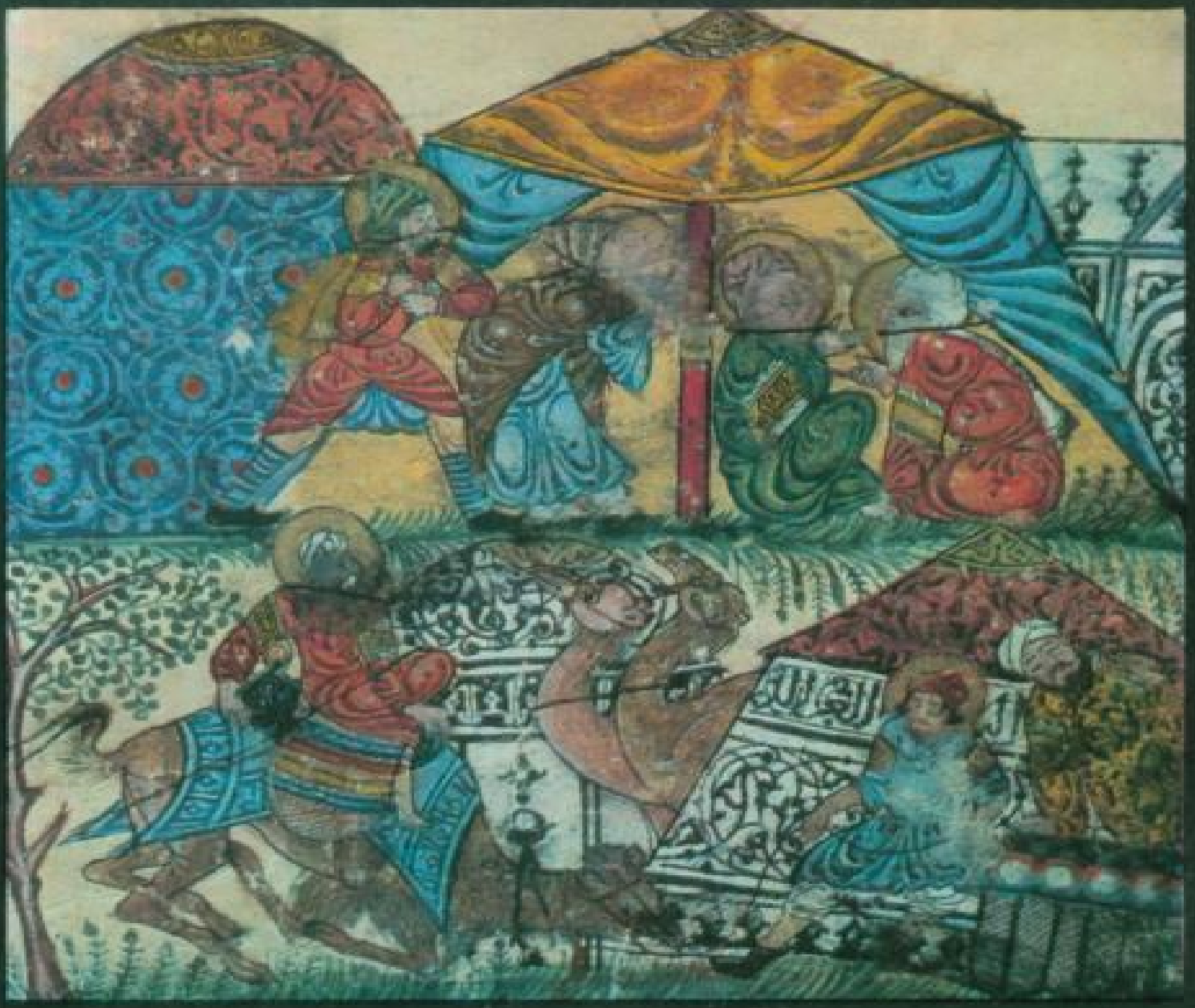

АБУ МУХАММЕД АЛЬ-КАСИМ

АЛЬ-ХАРИРИ

МАКАМЫ

Annotation

Макамы — распространенный в средневековых литературах Ближнего и Среднего Востока жанр, предвосхитивший европейскую плутовскую новеллу. Наиболее известным автором макам является арабский писатель, живший в Ираке. Абу Мухаммед аль-Касим аль-Харири (1054—1122). Ему принадлежит цикл из 50 макам, главный герой которых — хитроумный Абу Зейд ас-Серуджи — в каждой макаме предстает в новом обличье, но неизменно ловко выпутывается из самых затруднительных положений. Макамы написаны рифмованной ритмической прозой с частыми стихотворными вставками.

- Макамы
  -
  - ПРЕДИСЛОВИЕ
  - Санаанская макама
  - Хульванская макама
  - Макама о двух динарах[27]
  - Дамиеттская макама
  - Куфийская макама
  - Мерагская макама
  - Баркаидская макама
  - Маарийская макама
  - Александрийская макама
  - Рахбийская макама
  - Савская макама
  - Дамасская макама
  - Багдадская макама
  - Мекканская[93]макама
  - Законоведная макама
  - Синджарская макама
  - Насибинская макама
  - Мейяфарикинская макама
  - Рейская макама

    - Поэтическая макама
    - Караджийская макама
    - Бедуинская макама
    - Васитская макама
    - Сурская макама
    - Рамлийская макама
    - Тифлисская макама
    - Забидская макама
    - Ширазская макама
    - Саадская макама
    - Мервская макама
    - Оманская макама
    - Тебризская макама
    - Тиннисская макама
    - Девичья макама
    - Рамлийская макама
    - Алеппская макама
    - Хаджрийская макама
    - Харамийская макама
    - Сасанская макама
    - Басрийская макама
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15

- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52

- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89

- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126

- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163

- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200

- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237

- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274

- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311

- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348

- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Все книги автора

Эта же книга в других форматах

Приятного чтения!

Макамы

АБУ МУХАММЕД АЛЬ-КАСИМ
АЛЬ-ХАРИРИ
МАКАМЫ
Арабские
средневековые
плутовские
новеллы

ПРЕДИСЛОВИЕ

Абу Мухаммед аль-Касим ибн Али аль-Харири (1054—1122), известный также под именем аль-Басри, является одним из крупнейших писателей арабского средневековья. Он родился близ месопотамского города Басры в семье богатого торговца шелком и землевладельца. Получив хорошее гуманитарное образование, аль-Харири рано стал писать, увлекаясь прежде всего грамматикой и лексикой литературного арабского языка. С целью углубления своих знаний в арабской филологии он на долгое время поселился среди бедуинов, считавшихся в то время хранителями «неиспорченного» арабского языка — языка доисламской поэзии и Корана. Отличный стилист и знаток языка, аль-Харири создал несколько филологических трактатов, в которых выступал против употребления литераторами слов и грамматических форм, характерных для разговорного языка. Перу аль-Харири принадлежат также диван стихов и сборник посланий (расаил). Наиболее известны послания «Синия» и «Шиния», искусно составленные из слов, каждое из которых включает буквы «син» и «шин». Но наибольшую известность аль-Харири принес его замечательный цикл плутовских новелл — так называемых макам.

Макамы — жанр своеобразный. Они соединяют в себе свойства стихов и прозы, изысканно украшенной литературы и живой речи; ученый спор соседствует в них с рассказом о ловкой плутовской проделке, душеспасительная проповедь — с фривольным анекдотом, назидательные рассуждения — со злой сатирой, откровенно условная композиция — с достоверным отражением черт реальной жизни.

Слово «макама» существует в арабском языке с древнейших времен и значит буквально «место стояния». Первоначально этим словом обозначалось место собрания племени, потом значение его стало расширяться и было перенесено уже на само собрание, а в дальнейшем и на беседы, которые в этом собрании велись. Обычай вечерней беседы на привале у костра, возникший в кочевой бедуинской среде, утвердился впоследствии и среди той части населения халифата, которое перешло к оседлости, проник и в придворный круг. Когда мы читаем в сказках «Тысячи и одной ночи» о

ток, как Харун ар-Рашид, страдая бессонницей, призывал кого-нибудь из обычных своих сотрапезников и тот, чтобы скоротать ночь, рассказывал халифу удивительную историю, это не просто стандартный сказочный зачин, а отражение реального быта: аналогичные упоминания можно найти и в арабских исторических хрониках. Там мы встречаем термин «макама» как раз в применении к беседам, которые вели халифы со своими приближенными, а поскольку это были люди по тогдашним временам весьма образованные, беседы состояли не только в рассказывании занимательных историй и анекдотов, но и в дискуссиях на богословские, моральные и филологические темы. Знания, красноречие, остроумие, находчивость издавна были в большой чести при дворе, и люди неимущие, но образованные могли благодаря этим качествам снискивать себе пропитание и у «повелителя правоверных», и у подражавших ему мелких феодальных владык.

Таким образованным бедняком был и аль-Хамадани (969—1007), известный также под прозвищем Бади аз-Заман (букв, «чудо времени»), — основоположник литературного жанра, получившего название «макама». Его образ жизни, его занятия, несомненно, наложили свой отпечаток на специфику этого нового вида литературного творчества, которому суждена была в арабской литературе популярность и долгая жизнь: известно не менее семидесяти писателей, обращавшихся к жанру макамы; произведения в этом жанре сочинялись даже в начале XX в. Макамы вошли в литературу и некоторых других народов Ближнего Востока, в частности иранскую и еврейскую. Считается, что этот жанр повлиял на возникновение европейской пикарескной прозы в XVI—XVII вв.

Как правило, макамы писались рифмованной ритмизованной прозой (садж) со вставными стихами. Каждый автор создавал обычно цикл макам, состоявший из нескольких десятков новелл. Главный герой такого цикла — остроумный бродяга, веселый человек без определенных занятий, ловкий, беззаботный и высокообразованный. Своими речами он собирает вокруг себя людей и, хорошо разбираясь в психологии слушателей, очаровывает их своим красноречием, легко обманывает и обирает их. В каждой макаме герой появляется в новом городе, по названию которого она обычно и именуется. Место действия в макаме — чаще всего рынок, мечеть, дом судьи, просто

уличный перекресток — словом, место, где много народу. Повествование ведется от первого лица. Рассказчик — один во всем цикле макам. Обычно это купец, который, странствуя по городам, встречает главного героя, каждый раз выступающего в новом обличье; иногда рассказчик и сам становится жертвой проделок плута. По речи, по манерам рассказчик узнает проходимца и, уединившись с ним, укоряет его. Тот обычно отвечает, остроумным изречением или стихотворением, сложенным экспромтом, и покидает назойливого моралиста, чтобы встретиться с ним снова уже в следующей макаме.

Герой макам аль-Харири и его проделки, сама сюжетная основа цикла — странствия героя в поисках пропитания — все это отразило характерные черты эпохи, в которой создавались макамы. XI—XII века — это время упадка и распада Багдадского халифата. Власть халифа была номинальной, он сохранял авторитет лишь в делах религии. Власть на местах также была неустойчивой, переходила из рук в руки. На дорогах хозяйничали разбойники, которые нападали даже на Багдад. Положение осложнялось бесконечными религиозными распрями. Огромный вред экономике наносили войны между феодальными властителями отдельных областей. Феллахи покидали свои поля, становились бродягами и разбойниками. Многие гибли от голода и эпидемий. В поисках пропитания нищие бродили по городам, сложилось даже нечто вроде корпорации нищих, бродяг, фокусников и т. п., которые называли себя «детьми Сасана» (о происхождении названия см. примеч. 5 к макаме 30). Они выманивали деньги у людей где придется и как придется: торговали амулетами и лекарствами, предсказывали судьбу, прикидывались больными, увечными, бежавшими из плена и т. п. У них был в ходу свой воровской жаргон.

Таким нищим был несомненно и главный герой макам аль-Харири Абу Зейд ас-Серуджи. О прямой связи своего героя с «детьми Сасана» аль-Харири говорит в макамах Сурской и Сасанской. Да и все проделки героя в большинстве остальных макам подтверждают его принадлежность к этой своеобразной корпорации. Абу Зейд, как и прочие «дети Сасана», находится в оппозиции по отношению к обществу имущих: он обманывает и обирает прежде всего богатых купцов, судей, правителей. И порой не только обманывает, но и открыто обличает их жестокость, несправедливость, сластолюбие, как, например, в Рейской, Мервской или Рахбийской макамах, заступается

за обиженных. Когда правитель Мераги, восхищенный умом и мастерством, с каким Абу Зейд владеет словом, предлагает старику поступить к нему на службу, тот решительно отвергает это предложение, предпочитая оставаться свободным. Он понимает, что его поведение далеко не безукоризненно, однако считает, что должен приспосабливаться ко времени:

Наш мир, человеку слывущий отцом,
Нередко прикинется жалким глупцом:
Незрячим рядясь, беззаконья творит —
Так сыну грешно ль притворяться слепцом?

Макамы — яркий пример книжной средневековой литературы, имеющей ряд специфических особенностей. Прежде всего бросается в глаза «украшенный» стиль: обилие метафор, параллелизмов, сравнений, гипербол, богатая синонимика, намеки и иносказания, включение пословиц и афоризмов, игра слов, основанная не только на семантике, но и на аллитерациях и ассонансах. Особенно богата всеми этими выразительными средствами речь главного героя. Характерно, что в некоторых макамах Абу Зейд даже и не устраивает никаких плутовских проделок, а просто демонстрирует свои знания, красноречие и остроумие, восхищая присутствующих, как, например, в Хульванской макаме, когда он побеждает всех в споре о поэзии, или в Насибинской, где он заказывает обед для гостей.

Речь, которую произносит Абу Зейд в прозе или в стихах, независимо от ее содержания, — всегда кульминационный момент макамы. Он увлекает слушателей не только фейерверком пословиц, солью двусмысленных оборотов, мудростью крылатых слов, но и тем, что в его речах всегда веселая болтовня перемежается с серьезными размышлениями о жизни. Игра слов не бывает у аль-Харири самоцелью, чем грешат зачастую его эпигоны. Сознавая, очевидно, опасность подобного обессмысливания украшенного стиля, аль-Харири как бы предупреждает об этом, высмеивая в Алеппской макаме глупого учителя, по приказу которого ученики сочиняют стихи, полные словесных фокусов, но пустые по содержанию. У самого аль-Харири словесные украшения служат для более яркого выражения

тонких оттенков мысли. Для него важны гармония построения макамы, соответствие слова смыслу. Разнобой в стиле отдельных макам, а порой и отдельных частей одной и той же макамы не означает нарушения этой гармонии. Как отмечалось выше, в содержании макам сочетается много разнородных элементов и каждой из них соответствует свой стиль, свой речевой уровень.

Так, наиболее «высокая» лексика, наиболее патетическое построение наблюдается в речах и стихах Абу Зейда, когда он кого-либо или что-либо восхваляет или оплакивает или произносит поучение на возвышенную тему. «Средний» стиль мы встретим в повествовательных или описательных частях макам, в разговорах героев на моральные темы, в стихах о вине и любви и т. п. Наконец, «низкий» стиль соответствует сатирическим частям макам — обличительным речам Абу Зейда и его разыгрываемым перед зрителями «перебранкам» с женой. Таким образом, поэтика макам аль-Харири соответствует стилевым нормам своего времени.

Необходимо отметить и следующую особенность макам как жанра средневековой литературы: их строй подчинен определенным канонам. У каждой макамы традиционный зачин, стандартная концовка, однотипное развитие действия, повторяемость ситуаций, естественно, с более или менее значительными вариациями. Однако стереотипность ситуаций отнюдь не означает их искусственность. Наоборот, все это — сцены, выхваченные из жизни, т. е. макамы представляются плодами своей эпохи не только в отношении художественной формы.

Известный исследователь древнерусской литературы академик Д. С. Лихачев писал, что «средневековый человек стремился как можно полнее, шире охватить мир, сокращая его в своем восприятии, создавая модель мира — как бы микромир… Человек средних веков как бы ощущает страны света — восток, запад, юг и север: он чувствует свое положение относительно них… Расстояния огромны, перемещения скоры, и быстрота этих переездов еще более увеличивается оттого, что они не описываются, о них говорится без всяких деталей»[1]. Все это как бы сказано о макамах аль-Харири, в которых люди (главный герой и рассказчик) не только беспрерывно и, как правило, без видимых усилий переезжают из Йемена в Иран, из Грузии в Египет, но и «ощущают страны света» (см., например, Басрийскую макаму). Однако переезды лишь упоминаются и очень

редко описываются: индивидуальный характер местностей почти не отражается в макамах, за исключением, пожалуй, Харамийской и Басрийской, в которых автор, уроженец Басры, явно имел целью прославление своего родного города.

Интересно, что постоянный рассказчик макам, купец аль-Харис ибн Хаммам, описывает свою решимость отправиться в очередное путешествие как неожиданное непреодолимое желание: он словно «окрылател умом», по образному древнерусскому выражению, приведенному Д. С. Лихачевым[2], а в Сасанской макаме Абу Зейд прямо говорит: «Жизнь купца — перелетной птицы полет».

Таким образом, макамы аль-Харири можно рассматривать как произведения средневекового автора, творящего в основном в пределах типичного для его времени канона. Однако при этом следует отметить, что аль-Харири уже выходит за эти пределы: его макамам свойственны элементы реалистичности, явственно ощутимые прежде всего в образе главного героя. В нем очевидно личностное начало. Автору удалось показать многогранность этого характера. Абу Зейд не плох и не хорош — он человечен, ему свойственны и злые и добрые порывы. Этим аль-Харири нарушил основной стереотип системы средневековой литературы — однозначность образа. Возможно, ему помогло при этом яркое жизненное впечатление. Историки арабской литературы пишут, ссылаясь на самого аль-Харири, что у Абу Зейда был реальный прототип, о встрече с которым рассказывается в Харамийской макаме. В предании говорится, что аль-Харири начал сочинять эту первую свою макаму, вернувшись домой после происшествия в мечети, пораженный красноречием и умом проходимца.

Верно это предание или нет, но для нас несомненно, что в творчестве аль-Харири мы наблюдаем проявление интереса к человеку как к личности. Абу Зейд — не схема, не фигура, механически передвигаемая автором из одной макамы в другую, как склонны считать некоторые литературоведы, не маска commedia del arte, а живой человек. Хочется еще раз подчеркнуть, что этот персонаж возник под пером автора средневекового. Это лишний раз подтверждает, что средневековье не могло быть «сплошным адом», «временем темноты и невежества»[3]. Неспокойное в истории арабов время сделало духовную жизнь людей более насыщенной и богатой

разного рода переживаниями, о чем и свидетельствуют, в частности, макамы аль-Харири. Гуманистическое начало не только не исчезло в арабской литературе в период сельджукских междоусобиц и религиозной борьбы, но даже развилось.

Для литературы средневековья характерно представление о том, что литературное произведение должно воспитывать читателя, приносить ему пользу. Однако средневековые арабские литераторы ценили макамы прежде всего за красоту и изящество слога. С точки зрения содержания макамы иногда оценивались даже как вредные. Например, Ибн ат-Тыктака, автор наставительного «зерцала для правителей», находил, что «снисходительное отношение в изображении житейской пронырливости, плутовских проделок или попрошайничанья есть унижение духа человеческого»[4]. В современной же арабской критике можно встретить утверждения, что у аль-Харири содержится очень много полезных и нравственных поучений. Это соответствует истине, но не надо забывать: макама построена так, что последующие действия Абу Зейда берут под сомнение его слова и полезные наставления могут восприниматься как полезные лишь вне контекста макамы; в макаме же они представляются скорее насмешкой над моралью, о чем современные критики предпочитают умалчивать. Правда, аль-Харис ибн Хаммам в большинстве макам порицает Абу Зейда за плутовство, однако главный герой отвечает так, что его оправдания звучат убедительнее упреков. Кроме того, нельзя не заметить, с какой симпатией рассказчик, постоянно укоряющий веселого плута, следит за его проделками, хотя нередко и сам становится жертвой обманщика. Расставшись с Абу Зейдом, он скучает по его обществу, ищет встречи с ним. Очевидно, здесь сказались симпатии самого аль-Харири к этому персонажу. Абу Зейд — сын своего века, а раз, по его словам, этот век, «незрячим рядясь, беззаконья творит», то и Абу Зейд не может быть иным. Собственно, мысль о несправедливости судьбы (или миропорядка) как основной причины неблаговидных поступков Абу Зейда высказана уже в первой, Санаанской, макаме («Почему же неправая злая судьба лишь порочным отводит обширный надел?»); далее она повторяется, варьируясь, много раз, и это, очевидно, раздумья самого аль-Харири, который, как и другие передовые люди его времени, с грустью должен был наблюдать ломку жизненных устоев, девальвацию нравственных

ценностей. Ощущение неразрешимости противоречий между четко и рационально установленным этическим идеалом средневековья и зыбкой и «нерациональной» реальностью, вероятно, и породило такого героя, как Абу Зейд.

Не случайно чаще всего повторяющаяся тема его речей — бренность земных благ, ожидание божьей кары и призыв творить добрые дела. Санаанской макамой, в центре которой проповедь Абу Зейда на эту тему, открывает аль-Харири весь цикл; потом он возвращается к этому мотиву вновь и вновь, в макамах 11 (Савской), 21 (Рейской), 31 (Рамлийской), 41 (Тиннисской), т. е. в начале каждого нового десятка макам, словно навязчивая мысль не дает ему покоя. Однако каждый раз проповедь оказывается очередным обманом, очередной насмешкой Абу Зейда над доверчивыми слушателями. Автор как будто заставляет бороться между собой две морали: мораль религиозную, внешне принятую его современниками, но постоянно ими нарушаемую, и мораль «детей Сасана», противопоставляющих себя лицемерному обществу. И на протяжении всего цикла, казалось бы, побеждает мораль «сасанская». Предпоследняя макама, так и названная Сасанской, — завещание Абу Зейда сыну — восхваляет это братство нищих, их образ жизни и мировоззрение. Но завершается цикл покаянием героя (Басрийская макама), его вступлением на путь благочестия и добродетели — уже без всякого обмана.

Это естественно. Ведь трудно себе представить, чтобы писатель XII в., воспитанный в духе традиционной религиозной морали, к тому же никогда от нужды и политических передряг лично не страдавший, не искал бы в своих сомнениях утешения у Аллаха. Он не мог поступить иначе, как заставить в конце концов и своего грешного героя принять традиционную мораль, ибо, в представлении аль-Харири, не она плоха, а плох мир, который от нее отклоняется. Да и Абу Зейд нарушает требования этой морали только под влиянием объективных условий, а не в силу собственной испорченности.

Переводы макам аль-Харири на европейские языки появились лишь в XIX в. (С. де Саси, Рюккерта, Престона, Т. Ченери) и пользовались успехом у читателей. Например, Ф. Кугельман в воспоминаниях о К. Марксе пишет: «У Рюккерта он восторгался искусством языка, ему нравились также… „Макамы Харири“… по

своей оригинальности они вряд ли могут быть сравнимы с чем-либо другим…»[5]

Гейне в «Иегуде бен Галеви» писал:

> Ал-Харизи — я ручаюсь,
> Он тебе знаком не больше,
> А ведь он остряк — французский,
> Он переострил Харири
> В остроумнейших макамах…[6]

На русском языке в прошлом веке было опубликовано лишь пять макам аль-Харири[7], часть из них — в переводе с западных языков. Это — прозаические переводы, для них характерен тяжелый язык переводной прозы прошлого века; лишь в одном сделана попытка передать рифмы подлинника[8].

В переводе, предлагаемом читателю этой книги, мы стремились по возможности передать особенности поэтики макам[9]. Однако при этом нужно было иметь в виду, что привычное и естественное для средневековой арабской литературы может обернуться непривычной вычурностью и преувеличенной экзотичностью в русском варианте. Это создавало бы у читателя неверное представление о подлиннике, ведь, несмотря на все стилистические украшения, текст аль-Харири — не мертвая словесная ткань, а яркий живой рассказ.

Именно ради сохранения живого характера повествования и диалога переводчики считали необходимым расшифровать некоторые намеки, особенно связанные с бытовой спецификой, чтобы не перегружать перевод загадками и комментариями к ним. Например, в макаме О двух динарах Абу Зейд, жалуясь на невзгоды, которые терпит он и его семья, говорит: «И мы поселились в низине». Русский читатель (вероятно, и современный араб-горожанин) не поймет, почему именно это должно свидетельствовать о бедности. Комментатор поясняет: «Они выбрали низину местом жительства из-за бедности, чтоб гостям не был виден их огонь». В переводе мы передали этот отрывок так, чтобы он был понятен без комментариев: «На стоянке теперь я не жгу огней, боясь привлечь незваных гостей».

В то же время мы стремились сохранить характерные для арабского литературного стиля вообще и для аль-Харири в частности образные средства, которые отражают специфику языка макамы, хотя и могут показаться несколько необычными («беседы нашей огниво сыпало искры без перерыва», «ночь натянула шнуры своего шатра» и т. п.).

Хотели мы дать читателю представление и о звучании арабского текста, не ставя, однако, своей задачей воспроизвести все его звуковые украшения, потому что перевод, «озвученный» полностью по-арабски, опять-таки казался бы излишне вычурным.

В тех случаях, когда необходимо было передать в переводе такие элементы поэтической формы, которые в русском языке эквивалентов не имеют, приходилось подбирать для них аналоги. В частности, в макамах Мерагской и Алеппской излюбленные арабскими средневековыми авторами графические украшения заменялись украшениями эвфоническими, т. е., например, вместо повторения или чередования однотипных букв («отмеченных точками» или «не отмеченных точками» и т. п.) герои прибегают к повторению или чередованию одинаковых или однотипных звуков.

Делая таким образом русский текст более ясным по мысли и несколько более сдержанным по стилю, мы сочли необходимым сохранить ритмическую структуру подлинника и рифмовку, чтобы дать читателю представление о звучании арабского саджа.

Как известно, ритмизация не чужда русской литературной прозе. Большие куски ритмической прозы часто встречаются у таких общепризнанных мастеров стиля, как Н. В. Гоголь, И. С. Тургенев, И. А. Бунин. Основу ритмической организации русской прозы составляют грамматические и синтаксические параллели, поддержанные словесными и звуковыми повторами; иногда наблюдается стремление выравнять число слов, слогов или ударений в определенных ритмических отрезках, подобрать окончания определенного типа.

Поскольку ритмическая организация арабского саджа имеет в общем ту же основу (при большем удельном весе звуковых и словесных повторов, рифмы и параллелизма синтаксических конструкций); переводчики считали возможным воспроизвести его русской ритмической прозой. Наш перевод не копирует ритм

подлинника; в нем, как правило, ритмически члененные отрезки длиннее, чем в подлиннике, главным образом из-за необходимости расшифровки текста, о чем было сказано выше, и частого отсутствия полных лексических соответствий.

Конструируя ритм саджа, мы сочли обязательным сохранить и рифму, которая часто играет роль и ритмообразующего фактора. При этом мы опирались на опыт таких известных мастеров перевода с европейских языков, как М. Л. Лозинский («Кола Брюньон») и Н. М. Любимов («Тиль Уленшпигель»). Учитывая характер лексики и фразеологии макам, мы использовали средства только литературного языка на равных стилевых уровнях, избегая просторечия и вульгаризмов. В таком случае, как нам кажется, рифма наряду с ритмом подчеркивает усложненность стиля, как бы компенсируя облегченность звуковой стороны текста, и придает ему оттенок некоторой «старинности» при сохранении чуть лукавого оттенка повествования.

Следует сказать также и о способах передачи арабских стихов, которые в подлиннике то и дело разрывают ткань рифмованной прозы.

Система стихосложения арабской классической поэзии метрическая; стопы традиционных стихотворных размеров достаточно строго определены количеством долгих и кратких слогов, а тоническое ударение, важное для рифмованной прозы, здесь не играет роли.

Переводчики не считали нужным пытаться имитировать ритмы подлинника и, заменяя долготы тоническими ударениями, создавать несвойственные русскому стиху размеры, хотя в принципе возможен и такой путь (см., например, сказки «Тысячи и одной ночи» в переводе М. А. Салье). Мы опирались на принятый в советской теории и практике поэтического перевода принцип функционального и ритмико-интонационного подобия подлиннику.

Нам представляется, что для передачи стихотворных вставок, вкрапленных в ритмическую рифмованную прозу, лучше всего пользоваться строгими русскими силлабо-тоническими размерами, для того чтобы в переводе грань между прозой и стихами ощущалась так же ясно, как у аль-Харири. В большинстве стихотворений сохранен принцип рифмовки, характерный для арабской классической поэзии, — единая рифма в каждой строке или через строку. В макамах Савской и Дамасской сохранен встречающийся в них особый вид

арабской строфы андалусского происхождения (так называемый зеджель) с рифмовкой типа *бббба*, *ввва*, *ггга* и т. д.

Из пятидесяти макам, составляющих цикл рассказов о похождениях Абу Зейда ас-Серуджи, мы предлагаем читателю сорок, опуская макамы, основанные на графических фокусах или содержащие рассуждения о тонкостях арабской грамматики или законоведения, представляющие интерес только для специалиста. Нумерация макам оставлена такой же, как в арабском подлиннике.

Макамы аль-Харири неоднократно иллюстрировались средневековыми арабскими художниками-миниатюристами, несомненно находившими в них для себя богатый материал. Несколько иллюстрированных рукописей макам сохранилось до нашего времени. Рукопись, датированная XIII в. и содержащая 98 цветных миниатюр, находится в Ленинградском отделении Института востоковедения АН СССР. Ее иллюстрации относятся к наиболее ранним из дошедших до нас арабских миниатюр. Репродукции двух из них воспроизводятся на первой (илл. к Мекканской макаме) и четвертой (илл. к Васитской макаме) сторонках обложки.

Предлагаемый читателю перевод макам выполнен по бейрутскому изданию 1968 г. («Шарх макамат аль-Харири», изд. «Дар ат-тирас») с использованием комментариев к изданию Сильвестра де Саси (Париж, 1822)[10].

В. М. Борисов
А. А. Долинина

Санаанская макама
(первая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Превратности времени обратили меня в бедняка, от друзей оторвала суровой судьбы рука, а верблюдица странствий унесла меня в дальние страны, так достиг я столицы Йеменской — Саны[11]: с пустой сумой, с нуждой за спиной — нету ни даника[12] хлеба купить и некуда голову приклонить. Целый день, неприкаянный, по улицам я бродил, словно по небу птица, по городу я кружил, а взоры свои пустил я блуждать повсюду: искали они, с кем я горе свое забуду, благородного друга, чтобы душу ему излить, о бедах поведать и печали свои утолить.

Долго-долго бродил я, и милость явил мне Аллах — всех несчастных заступник, помощник во всех делах. Привел он меня к многочисленному собранью: все теснили друг друга, и слышались чьи-то рыданья. Сквозь чащу собравшихся я стал пробираться вперед — разузнать и разведать, почему столпился народ. Наконец я увидел: в середине толпы стоит путешественник, жалкий и тощий на вид. Он рыдает и стонет, причитая и поучая, драгоценные камни слов то и дело из уст роняя. А вокруг него люди стоят, вниманья полны, как седой ореол вокруг полной и яркой луны, как цветка лепестки, что вокруг сердцевины видны. Подошел я с почтеньем поближе и был готов у него позаимствовать кое-что из редкостных слов. Он цветистые фразы быстро сплетать умел, ловко рифмы нанизывал, и голос его звенел:

— О ты, погрязший в своих заблуждениях, ты, увязший в земных наслаждениях, в одеяние гордости облаченный, неразумною суетой

увлеченный! Ты в распутстве закусываешь удила, творишь ты неправедные дела! Ты от спеси спасаться доколе не будешь, в беззаботных забавах доколе пребудешь? Что ж ты грозным приказам владыки не внемлешь, на него греховную руку подъемлешь, скверность свою вотще скрывая от властителя ада и рая? Утаишь ты от ближнего злобный план, но Всевышнему ведом твой низкий обман!

Ты возьмешь ли богатство и титул с собой, собираясь мир покинуть земной? И разве укроют дворцы и палаты, когда приблизится час расплаты? Будет поздно, уж каяться не придется, когда твоя нога поскользнется, и не тронет друзей твоя мольба в страшный час, когда всем протрубит труба![13]

О, если бы путь ты избрал прямой, о, если б недуг излечил лихой! И душу взнуздал бы, добро возлюбя: ведь душа твоя — злейший враг для тебя![14] День кончины придет к тебе неизбежно — кинь пучину порока, готовься прилежно! Седина — тебе грозное предупрежденье. Где отыщешь потом для себя прощенье? Ведь могилой ты кончишь, к Аллаху придешь — так от кого же ты помощи ждешь? Не спи, коль судьба тебя разбудила, не медли, коль проповедь поторопила! На истину глаз ты не закрывай, от правды заведомой не убегай!

Смерть не дремлет, а ты о ней забываешь, никогда состраданья к людям не знаешь. Ты деньги готов день и ночь копить, а не имя Аллаха в душе хранить. Для себя ты возводишь роскошные зданья, а не ближним оказываешь благодеянья. Верного ты не ищешь пути — лишь одни наслаждения жаждешь найти. В ослепленье стремишься к роскошным нарядам, а не к добрым делам, не к райским наградам. Не молитва святая тебе дорога, а яркие яхонты и жемчуга. Ты скупишься на милостыню беднякам, а дары прилипают к твоим рукам. И тонкие яства, и хмельные напитки дороже тебе, чем священные свитки, и речи пустые без божьего страха милее тебе, чем слово Аллаха.

Вслух ты творить добро призываешь, а втайне святыни добра попираешь. Ты других отвращаешь от зла неустанно, а сам причиняешь зло постоянно. Ты против жестокости восстаешь, но об руку с ней все время идешь. И напрасно боишься людской неприязни — ведь Аллах лишь один достоин боязни!

Затем он продекламировал:

Горе тому, кто стремится
Сладостью жизни упиться,
В вихре страстей нечестивых
Денно и нощно кружиться!
Если б он знал, что в грядущем
Божье возмездье свершится,
Стал бы, отринувши страсти,
Плоть изнурять и молиться!

Тут оратор замолк и слов огни погасил, глубоко вздохнул, избыток слюны проглотил, подобрал свою палку и на плечи мешок взвалил. Увидели люди, что странник готов уйти, и каждый желал помочь ему в трудном пути: карманы опустошили — всяк выложил все что мог — и дарами своими наполнили тощий мешок. Страннику говорили:

— Хочешь — потрать это сам, поправь свое положенье, а хочешь — раздай друзьям.

Он принял от них подарки, стыдливо глаза прикрыв, и начал с ними прощаться, за щедрость их восхвалив, потом поспешил удалиться, себя не велел провожать, словно таясь и скрывая, куда будет путь держать.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я тайком отправился вслед за ним, осторожно ступая, неслышен, незрим. И смотрю — перед нами пещера большая. Он спустился туда, преследованья не замечая, снял сандалии, ноги омыл у входа и вглубь проскользнул, под темные своды. Тогда и я вошел в пещеру за ним, любопытством и жаждой знанья гоним. Вижу: странник сидит с учениками, белый хлеб перед ними большими кусками, с наслажденьем жаркое они уплетают, из кувшина огромного вином запивают. Я в удивленье воскликнул: «Смотри! Хороша оболочка, а что внутри!»

Тут котел его злобы сразу вскипел, он как дикий зверь на меня поглядел, и в глазах загорелись два недобрых огня — я боялся: он бросится на меня. Но скоро он охладил свой пыл и вновь стихами заговорил:

Для того я одежду аскета надел,
Чтобы сытно поесть, отдохнувши от дел.
Я расставил силки — и добычу поймал,
Я закинул крючок — и рыбешку поддел.
Я по свету брожу, пропитанье ловлю
Сотней хитрых уловок — таков мой удел.
Я без страха бросаюсь навстречу судьбе,
Даже в логове львином и то уцелел!
Но куда бы моя ни стремилась душа,
Честь всегда ей суровый поставит предел.
Почему же неправая злая судьба
Лишь порочным отводит обширный надел?

Потом он промолвил:

— Ешь, не тужи! А что-нибудь хочешь сказать — скажи!

Я шепнул одному из учеников, что делили с учителем славный улов:

— Я тебя заклинаю Каабой[15] святой — объясни мне скорее, кто он такой.

Тот сказал:

— Абу Зейд из Серуджа[16] родом, остроумец, признанный всем народом, Чужестранцев светоч, Чудо природы! Я ушел, увиденным удивленный, до глубины души потрясенный.

Перевод А. Долининой

Хульванская макама *(вторая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— К собраньям ученых тянуться я стал, как только мальчишкою быть перестал, как только с меня амулеты сняли и, как взрослому шейху, чалму повязали. Я жаждал, дабы не пропасть, к кладезю мудрости припасть. Я жадно впитывал влагу познанья, чтоб у людей добиться признанья. Распахнулись в мир ненасытные вежды — хотел я носить мудрецов одежды. В изученье наук я старался быть точным — не обходил даже малый источник.

Однажды в Хульване[17] я очутился. И тут у друзей я добру поучился: узнавал, что украшает и что порочит, что губит, что добрую славу пророчит. Вдруг Абу Зейда я встретил в Хульване — того, с кем знакомство свел в городе Сане[18]. И здесь добывал он себе хлеб насущный острым умом, ему присущим: он то возводил свой род к Сасанидам[19], то утверждал, что сродни Гассанидам[20], то выступал как нищий поэт, удивляя искусством мир, то смотрел гордецом, как величественный эмир. Пребывал Абу Зейд в положениях всевозможных, не раз побывал в обстоятельствах сложных. Он людей оплетал тонкою ложью — таков был закон его непреложный. Их души он потоками слов орошал, а потом плоды красноречия своего вкушал. Речами учтивыми Абу Зейд людей ублажал, их страсть к познанию утолял.

Посему все стремились его лицезреть, чтоб в доселе неведомое прозреть. И никто не пытался ему возражать: ведь мощный поток его слов не сдержать! Что хотел, Абу Зейд получал, ибо сладостно голос

его звучал. Была его речь изящной, вкусной — и я влюбился в его искусство. Даром своим он меня покорил — я искренним чувством его отдарил.

Подружился я с ним — и ушли все тревоги,
Далеко пред собой стал я видеть дороги.
Встречи с ним, как с любимой, отныне я жажду,
Словно брата, с утра его жду на пороге.
Его речь — это дождь, утоляющий жажду,
Без него я страдаю, как нищий убогий.

Так в приятном общении дни летели, я много узнал за эти недели. Погасил он в душе моей сомнения, не возбуждая в ней самомнения. Но скоро нужда в сладкий кубок общенья струею влила колоквинт разлученья[21]: Абу Зейда подвергла она испытанью, лишив его разом всех средств пропитанья. Тогда, наточив решимости меч, он задумал свои неудачи пресечь — пуститься от моря в степные места: авось сума его там не будет пуста. Так взял Абу Зейд за узду коня — с собой он увез и частицу меня.

Кого я с тех пор на пути ни встречал,
Кого бы ни слушал — со всеми скучал:
Средь них не видал я подобных ему
По речи блистательной и по уму.

Проходит год, проходят два, а я не знаю, где логово льва. Я много ездил, потом возвратился в город родной, где на свет появился. И стал посещать я хранилище книг — убежище тех, кто к слову приник. Заходили туда мои соплеменники, и дальних дорог забредали пленники. Однажды пришел туда старец седой, с бородою густой, в ветхой одежде, с сумою пустой. Сказал он всем приветствия слово, в сторонку сел — и нет его словно. Но вдруг развязал он меха острословия — и полились из них слова и присловия, всех, кто сидел вокруг, изумляя и восхищение их вызывая.

Потом старик соседа спросил:

— В какую книгу ты взоры свой углубил?

— Это — диван[22] Абу Убады[23], — ответил ему сосед. — В нем высот совершенства достиг поэт.

— Какие же бейты[24] тебя восхитили?

— Вот они — строки, что сердце пленили:

Лепестки белых роз или влажно сверкающий град?
Нет! Улыбка ее: дивных перлов сияющий ряд!

Какое яркое сравнение! Слова, достойные восхищения!

Старик воскликнул:

— До предела поэзия оскудела! Ты ведь опухоль за жир принимаешь и холодные уголья раздуваешь. Вот я прочту стихи, и ты скажешь «Ах!», услышав в них все о красивых зубах.

И старик продекламировал:

Отдаю я всю жизнь за уста, что смеются пленительно,
И за белые зубы — сверкают они ослепительно!
Не равны им по блеску ни жемчуг морской удивительный,
Ни прозрачные градины — дар облаков изумительный!
Лепестки белых роз — благовоние их восхитительно…
Несравнимо оно с ароматом тех уст упоительных!

Стихами слушатели насладились, совершенству их подивились и попросили их повторить, чтоб наизусть затвердить. И стали спрашивать, кто сочинил стихотворение это — из старых он или из новых поэтов. Старик ответил:

— Истину недостойно скрывать, правду следует знать: ваш нынешний собеседник — этих строк сочинитель. Свидетелем мне Аллах, судеб людских вершитель.

Такое утверждение вызвало в людях сомнение. Все молчали, но старик угадал, чтó каждый из них в мыслях своих скрывал, тогда он молвил, слова осуждения опережая, предметом насмешек быть не желая:

— О знатоки поэтических фраз! Не всегда ошибку воспримешь на глаз. Меж тем подозрение есть прегрешение, основание должно быть у

решения. Плавлением драгоценный металл проверяется, проверкой сомнение устраняется. Людям известно с давних пор, что испытанье приносит мужу либо почесть, либо позор. Если хотите — меня проверьте, глубину тайников души измерьте.

Тут один собеседник поспешил сказать:

— Я знаю бейт красоты несравненной и прелести необыкновенной. Усладу он сердцу дает и уму — сочини подобный ему!

> Жемчуг[25] пролился из ока-нарцисса на алую розу градом,
> Сжала она виноградину-пальчик своим белоснежным градом.

Не успел читавший и рта закрыть, как старик уже начал свои стихи говорить:

> Ярко-красной чадрою свое лицо стыдливо она прикрыла —
> Молодой луны серебристый свет пурпурным закатом скрыла.
> Но я умолял — и луны уголок гурия приоткрыла
> И свой быстрый взгляд — ароматный кинжал — в сердце мое вонзила!

Люди находчивости старика подивились, от всех подозрений освободились и, не в силах сдержать восхищение, выказали ему уважение. А старик сказал, помолчав мгновение:

— Вот вам еще два бейта других — послушайте их:

> Красавица в горести кончик банана рядами жемчужин кусала,
> В одеждах печали недвижно стояла — разлуки пора наступала.
> А черная ночь на прелестный день предзакатные тени бросала.
> И сумрак и свет несла гибкая ветвь, что в безмолвии трепетала[26].

Поэта по достоинству тут оценили, ливень стихов его восхвалили, почли общение с ним за честь, столько одежд старику надарили, что и не счесть!

Продолжал рассказчик историю так:

— Когда я ощутил полыханье его огня, воспоминания охватили меня. На пришельца я взгляд свой устремил и узнал того в нем, кого любил! Черты Абу Зейда я в нем разглядел, но как серуджиец-мудрец поседел!

С великой удачей себя я поздравил, стопы свои к Абу Зейду направил. Поцеловал я руку его и спросил:

— Какой злой ветер тебя носил? Борода была, как ночь, черна, отчего теперь серебрится она? Ведь я тебя, шейх, еле узнал!

В ответ он такие стихи сказал:

Тяжелою поступью время идет
И властно людей за собою ведет.
Сегодня к богатству тебя приведет,
А завтра низринет, в могилу сведет.
Обманчивым блеском не будь ослеплен —
Везенье берет бесталанных в полон.
Не сетуй, что злою судьбой обделен,
Терпеть научись — и ты будешь спасен!
Не злато еще золотая руда —
Разумным не станешь без мук и труда!

И пошел старик, унося с собой нашу любовь и сердечный покой.

Перевод В. Борисова

Макама о двух динарах[27] *(третья)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Собрало нас с друзьями веселье, словно жемчужины в ожерелье. И беседы нашей огниво сыпало искры без перерыва. Не разжигая пламени спора, сучили мы нити разговора, вспоминали стихи и рассказы, веселые шутки и проказы. И вдруг перед нами — чужой, оборванный и хромой. Говорит:

— О несравненно драгоценные, неизменно блаженные! Пусть усладою будет ваше житье и сладостным — утреннее питье. Взгляните: имел я товарищей, был тороват, славил бога и был богат, владел деревьями и деревнями, одаривал щедрыми дарами. Но вот одолели меня превратности, оседлали меня неприятности, черные беды чредою ко мне вошли, искры злобной зависти обожгли, так что ладони мои обеднели, жилище и двор оскудели, иссякли источники благ земных, иссохла земля в полях моих, распался дружеский круг, и ложе каменным стало вдруг.

Пошли измены и перемены, рыданье родных услышали стены. И привязь пустая — нету коня; кто завидовал мне — стал жалеть меня. Пропало, богатство, погибло добро — скот, и золото, и серебро. Плакал даже недруг злорадный — даже он моим бедам не рад был.

Так судьба, ко мне беспощадная, и бедность нещадная белым сделали черный висок, и в горле застрял кусок. Стали мне обувью мозоли, страсти ушли поневоле, голодовка тело мне изнурила, бессонница веки мне насурмила. На стоянке теперь я не жгу огней, боясь привлечь незваных гостей. От колючек за мною кровавый след; я

стараюсь забыть, как сидел в седле; жду с нетерпеньем урочного дня, когда смерть заберет меня.

Где же он — мой утешитель, где он — благородный целитель? Клянусь тем, кто земную мне жизнь подарил и с племенем Кайлы[28] породнил, — навек я с нуждой побратался, в ночи без приюта остался!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Пожалел я тут бедного старика, но подумал: «Откуда течет красноречья река?» Я вынул для искушенья динар, горевший на солнце, как жар, краснобаю его показал и сказал:

— Если эту монету в стихах прославишь, в свой карман ты ее отправишь.

И тут же стихи полились в ответ — а в них ни слова чужого нет:

Как славен он! Сверкая желтизной,
Из края в край обходит мир земной!
Чеканка на челе таит секрет
Его бессмертной славы под луной.
Залог победы, как он людям люб,
Он мнится всем сияющей звездой,
И, словно из людских сердец отлит,
Пылает диск динара золотой.
Владельцу звон его судит успех,
Кто одинок, тому он брат родной.
Найдешь ли где помощника верней?
Эмиру власть дана его рукой,
Владыка без него — ничтожный раб,
Беду сомнет атакой он одной.
Низвел с небес он столько полных лун,
И пленников, застигнутых бедой,
Он столько раз у смерти выкупал,
И уголь гнева засыпал золой.
Клянусь Творцом, создателем земли, —
Когда б не страх, что будет грех большой,
Сказал бы: в мире силы нет другой!

Так закончив, он руку протянул и мне хитро подмигнул:

— Благородный слов назад не берет: коли гром прогремел, то и дождь польет!

Я бросил ему золотую монету — достойную плату за оду эту. Он сунул динар себе в рот, молвил:

— Пусть Аллах его бережет!

И стал подбирать полы одежд, готовясь в путь, вновь полный надежд. Но тут моей щедрости разгорелся пожар: я вынул еще динар и сказал:

— Меня опьянил твоего красноречия пыл. Эта монета тоже будет твоей, но не хвалу, а хулу спой ты ей.

Едва я договорить успел, как старик такие стихи запел:

Будь проклят он, обманщик и хитрец,
Двуликий лицемер и ловкий лжец.
В предательском обличий двойном —
Жених убранством, желтый, как мертвец!
О, если бы не страсть людей к нему,
На них бы так не гневался Творец,
И руку вору не рубил палач,
И бедняком не помыкал подлец,
И должника не мучил кредитор,
При виде гостя не дрожал скупец,
Завистник взором не губил людей…
Когда ж настанет злу его конец?!
Он ускользнуть готов, как беглый раб,
Кто на него надеется — слепец.
Хвала тому, кто отшвырнет его
Без жалости, без страха, как мудрец,
И скажет твердо: сгинь ты наконец!

Я промолвил:

— Ливень обилен твой!

Он ответил:

— Обещанное за тобой!

Я снова бросил ему золотой:

— Двух друзей дорогих соедини да Аллаха, господа миров, помяни!

Он рот раскрыл — и динар проник туда, где сидел уж его двойник. Хвалу собеседникам нищий воздал и посох странника в руки взял.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Тут сердце мне подсказало вдруг: «А что, как певец — Абу Зейд, старый друг? Теперь он хромает, но не притворно ль?»

И старика я вернул проворно:

— По узорным речам тебя я узнал. Выпрямись! Что это ты захромал?

Он ответил:

— Если ты Ибн Хаммам уважаемый, то чести и почестей тебе желаем мы!

— Угадал, я — аль-Харис. Как текут твои дни?

— От достатка к нужде бегут они: то песок скрипит на зубах от хамсина[29], то повеет вдруг дуновеньем насима[30].

— А что это ты притворился хромым? Доволен ты сам превращеньем таким?

Тут Абу Зейд невеселым стал и такие стихи на прощанье сказал:

Притворившись хромым, облегченье найду,
Хоть на день, хоть на миг все же сброшу узду,
Без цепей и оков я свободным иду
И свои хитроумные речи веду.
Оправданье себе без труда я найду —
Из Корана святые слова приведу:
«Нет греха на хромом и убогом!»[31] —
Позволительно ль спорить вам с богом?

Перевод В. Борисова и А. Долининой

Дамиеттская макама *(четвертая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Странствуя по белу свету, отправился я в Дамиетту[32]. Жизнь тогда смотрела на меня благосклонно, и многие дружить со мной были склонны. Мне улыбался благоденствия лик: шелка и парчу носить я привык. В пути у меня была опора: друзья, сломавшие палку раздора. Сливками согласия мы наслаждались, зубьями единого гребня казались. Воедино в пути наши души слились, на быстрых верблюдах мы к цели неслись. Недолгими были наши привалы, недолго в оазисах мы отдыхали: как только каждый воды напьется, снова в путь — к другому колодцу.

Однажды решили мы украсть у ночи хотя бы первую часть: спустилась уж тьма, а мы идем, безлунна ночь, а нам нипочем! Но вот рассвет размывает мрак — ночь седеет, и нам на отдых пора. Уже напала на нас дремота, а в рот забралась зевота. На колени верблюдов мы опустили, стреножив бурых, пастись пустили. И разбили свои шатры у подножья пологой горы, овеваемой ветром восточным, свежим, который прохладой путников нежил. Скоро все умолкло вокруг, и в тишине я услышал вдруг средь брошенных седел ночную беседу:

— А как ты относишься к другу, к соседу?

— Сосед есть сосед, — я слышу ответ, — даже если несправедлив сосед. Когда я вижу: сосед вспылил, отхожу я в сторонку, чтоб гнев поостыл. Старый друг больше брата мне мил, пусть он колоквинтом[33] меня опоил. Даю я, не требуя равной отдачи: считаться с другом — нет

хуже задачи! Рука моя лить добро не устала — ведь мужу скупиться на друзей не пристало! Кто гостем пришел ко мне на пир, тот надо мной — эмир! Если пришел друг дорогой, владыка он надо мной! Приятно приятеля одарить, радостно другу полезным быть. Я любезен и с тем, кто не любит меня, я помню о тех, кто покинул меня. Если кто мне долг сполна не уплатит, не сержусь — мне немногого хватит! Даже если ужалит меня змея, за обиду мстить ей не буду я!

И ответил ему ночной собеседник:

— Сынок, а ведь так ты станешь бедным. Горе тебе, если будешь столь щедрым. Я иду только с тем, кто в пути мне подмога, не друг мне тот, кто горд хоть немного. Я с неверным не дружен: кто слово нарушит — тот мне не нужен; кто обманет меня — с тем я близок не буду, кто покинет меня — того забуду. На противника я любви не трачу и не желаю ему удачи. Своему заклятому врагу я поле засеять не помогу. Разве я посочувствую тому, кто горю обрадуется моему?! Неужели я того полюблю, кто злорадством встретит кончину мою? Я только любимым подарки дарю, лишь лекаря-друга советы ценю. Не одарю того я дружбой, кто не отплатит за дружбу службой. Своих намерений я тому не раскрою, кто глубокую яму мне роет. За того лишь готов я Аллаху молиться, кто от щедрот своих даст мне напиться. Но хвалы моей не дождется тот, чья жадность мне пересушит рот. Ты разве двух друзей видал, чтоб один чадил, а другой пылал, чтоб один расточал, а другой копил, чтоб один мягким был, а другой грубил? Нет! Аллахом клянусь, подражать должны друг другу друзья, если дружбе верны. И обман не будет нас отдалять, и вражда не будет нас разделять. Почему я вином тебя должен поить, а ты мне в чаше яд подносить? Я готов твою добрую славу упрочить, но и ты не должен меня порочить. Если я тебе свою душу раскрыл, берегись погасить откровенности пыл! Где царит справедливость, нет места насилью. А любовь? Разве ее пробудишь силой! Разве счастлив путем униженья идущий? Разве солнечный свет виден за тучей? Вот послушай стихи на сон грядущий:

Того лишь люблю, кто любовь мне дарит —
Ведь меру в любви соблюдать надлежит!
Ты любишь — в ответ мое сердце горит,
Остынешь — погаснет оно и молчит.

Измена друзей не меня разорит:
В убытке — кто другу ущерб причинит.
Кто плод моей дружбы сорвать норовит,
Пусть семя любви в моем сердце взрастит.
В общенье с друзьями обман мне претит —
Ведь он лишь разлад меж друзьями плодит.
Смешон мне, кто чести своей не хранит, —
Навеки презреньем моим он облит.
Пусть друг лицемерный по глупости мнит,
Что я не замечу коварных обид:
Ему невдомек, что ударом в мой щит
Себе же он голову сам размозжит!
А тот, кто со мной как с глупцом говорит,
Пусть будет могильной землею покрыт.
Неискренний другом себя обрядит —
Беги от него; он тебе навредит!
Пусть золото друга тебя не манит —
Расчет меж друзьями раздоры родит!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я чутко внимал беседе двоих, и мне захотелось увидеть их. Когда утро — солнца дитя — народилось и небо светлой лазурью покрылось, все стали грузить на верблюдов вьюки, меня ж занимали отнюдь не тюки: решил я первым, до птиц еще, встать — ночных собеседников отыскать. Лица спутников начал я изучать и голоса их примечать. И вот предо мною не спавшие ночью. Ба! Я Абу Зейда вижу воочию! Но приятель наш на сей раз не один — с ним рядом такой же оборванный сын. Восхищенный их доброй, разумной беседой, полный жалости к их невзгодам и бедам, я друзьям про достоинства их поведал и позвал их дальше со мною идти, а значит, насущный хлеб обрести. И ветви щедрости начал для них трясти. Мои спутники их как друзей привечали, от подарков карманы старца трещали, зазвенели дирхемы[34] в суме хитреца — исчезло унынье с его лица.

А с нашей стоянки видели мы гостеприимной деревни дымы. И вдруг ко мне Абу Зейд подходит и такую вот речь заводит:

— Тело мое загрязнилось в долгом пути — не позволишь ли мне в ту деревню пойти? Горячая баня нужна мне сейчас. Я смою грязь и вернусь тотчас.

Я сказал:

— Если хочешь, так торопись. И, не задерживаясь, возвратись.

Он ответил:

— Вернусь я, о брат, быстрей, чем к тебе возвратится твой взгляд. — И побежал, как породистый конь на кругу скаковом, бросив сыну: — Не медли! Ну-ка бегом!

Мы решили, что он теперь с нами навек, но этот обманщик задумал побег. Весь караван ждал его возвращенья, как ждут в рамадан торжества розговенья[35]. Но вот стали рушиться дня утесы, и тревожными стали наши вопросы. Уже солнце разорвано зубцами гор, а мы все с деревни не сводим взор. Сказал я:

— Не будем сидеть без дела: нет ожидания без предела! Готовьтесь в путь. Теперь уже ясно, что возвратиться он клялся напрасно. Не верь тому, кто на вид благодушен, испытай его: так ли он добродушен?..

Я встал, чтоб верблюда в путь оседлать и вьюки тяжелые подвязать. Вот тут-то я стихи увидал! Их Абу Зейд на седле написал:

О тот, кто помог мне в нелегком пути,
Достойней тебя средь людей не найти!
Уход мой поспешный, о щедрый, прости —
Бегу не затем, чтоб следы замести.
В бесстыдстве меня упрекать погоди —
Сказал ведь Аллах нам: «Вкусив, уходи!»[36].

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я вслух прочел, что Абу Зейд написал, — пусть простит его тот, кто порицал. Подивились все остроумью его, но сказали: «Избавь нас, Аллах, от него!..»

И пустились мы в путь — искать удачи…

Кого-то теперь Абу Зейд дурачит?

Перевод В. Борисова

Куфийская макама
(пятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Как-то вечером в Куфе[37] у нас собралась компания — те, что вскормлены с детства молоком красноречья и знания. Растянулся над нами плащ темноты на подкладке из лунного света, и звезды висели на нем, как серебряные амулеты. Но ярче сверкали звезды речей, что в нашей беседе спешили зажечься, — речи такие в памяти надо беречь, от них не нужно беречься; это речи, к которым люди склоняются, а не те, от которых они уклоняются.

Так в разговорах ночь протекала без сна, пока не зашла луна. Мрак раскинул над миром черный шатер, на глаза покрывало дремы простер. И вдруг мы за дверью услышали тихий звук, словно лай приглушенный[38], и чей-то настойчивый стук. Мы спросили:

— Кто у дверей? О пришелец ночной! Откликнись скорей!

И пришелец ответил:

Да будет этот дом благословенным,
Да будет его благо неизменным!
Стучится к вам ночной печальный путник,
От холода и голода согбенный.
Он долго брел, усталый, по дорогам,
Собрав на платье пыль со всей вселенной.
Как месяц молодой, он худ и бледен,
У вас он просит помощи смиренно.
В обитель вашу сердцем он стремился,

Надеясь здесь найти приют блаженный.
Впустите гостя, что доволен малым,
Ему любые крохи — дар бесценный.
Назавтра он уйдет своей дорогой
И будет славить дом благословенный.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Мы пленились красноречием гостя, зашедшего к нам ненароком, и поняли: вслед за этой молнией ливень польется потоком. Мы дверь поспешно растворили во тьму:

— Добро пожаловать! — сказали ему. И слуге закричали:

— Не зевай! Все, что есть съестного, скорей подавай!

Гость сказал:

— Клянусь милосердным[39], кто вывел меня на верный путь, — к яствам руку я не решусь протянуть, пока не уверюсь, что трапезой вас не отяготил, за стол насильно не посадил. Ведь часто пища приносит вред, коль в еде и питье потребности нет. Если поздний гость принуждает хозяина есть, от такого гостя мучений не счесть, и особенно отвратителен тот, чей приход хозяина к болезни ведет! Ведь недаром пословица гласит (та, что зрение людям беречь велит): «Когда не хочешь слепым оказаться, от ночной еды спеши отказаться, разве что голод тебя истомит и сладостный сон от тебя убежит».

Говорит рассказчик:

— Наши мысли он словно бы прочитал, в сердце наших желаний стрелою из лука попал, и мы восхвалили его за добрый нрав, просьбу выполнить свято пообещав. Слуга притащил, что собрать он наскоро мог, и перед нами светильник зажег. Тут я Абу Зейда в пришельце ночном узнал и моим собеседникам сразу сказал:

— На гостя нам повезло, друзья, упустить такую добычу нельзя! Если ночное погасло светило, то светило поэзии дом озарило. Если луна небесная скрылась, то луна красноречия пред нами явилась!

И мои друзья воспрянули духом тотчас, покрывало дремоты поспешно стряхнули с глаз, и вновь раздули веселья погасший костер, и вновь развернули остроумных шуток ковер.

А руки нашего гостя проворно летали от блюда к блюду, слуга едва успевал убирать пустую посуду. Когда Абу Зейд насытился, я

сказал ему:

— Подари нам скорей какую-нибудь диковину из дивных твоих речей.

Он ответил:

— Столько я дивного повидал, что самым зорким не снилось; о таких напастях, что я испытал, ни в каких историях не говорилось. Но дело самое удивительное этой ночью со мною случилось.

Мы попросили рассказать, что за диво ему довелось увидать. И услышали:

— Дальних странствий стрела в эту землю случайно меня занесла. Жалкий, голодный, я был от близких далек, и, как сердце матери Мусы, пустым[40] был мой кошелек. Я устал, измучился, но, когда опустилась тьма, я решил обойти чужие дома: авось меня кто-нибудь приютит, авось хоть лепешкой угостит.

Но судьба неожиданностей полна, матерью случая недаром зовется она. Голод, словно погонщик, гнал меня местностью незнакомой, пока не остановил у дверей какого-то дома. Желая души хозяев привлечь, я сказал для них такую речь:

Да сохранит ваш дом Аллах,
Удачей одарит в делах!
Голодный путник у дверей,
Измученный, он ждет впотьмах.
Давно забыл он пищи вкус,
Едва стоит он на нотах,
Приюта нет ему нигде,
И темнота наводит страх.
О, как найти покой и кров
В сих благоденственных местах,
Оазис светлый, чтоб войти
Туда с улыбкой на устах?

Говорит Абу Зейд:

— Вдруг маленький мальчик из дома вышел на зов, в детской рубашке без рукавов, и сказал:

Клянусь я тем, кто Каабу основал[41],
Кто нам гостеприимство завещал,
Нежданный гость найдет у нас в дому
Лишь слово дружбы да ночной привал.
Подаст ли гостью угощенье тот,
Кто сам уж ночь от голода не спал,
Кто сам не знает, как добыть еды?
Поверь, пришелец, правду я сказал!

Я ответил:

— Ничего хорошего гость для себя не найдет, коли хозяин с бедностью дружбу ведет. Однако, мой мальчик, своим остроумием ты меня сумел покорить, поэтому я хочу имя твое спросить.

И мальчик ответил:

— Зовут меня Зейд, я родился в оазисе Фейд. Родичи матери, бедуины из племени Абс, в этот город со мною приехали только сейчас.

Я попросил его:

— Расскажи о себе, да будет Аллах благосклонен к твоей судьбе.

Мальчик сказал:

— Барра — «Благочестивица» — так зовут мою мать — женщина честная, добрая, имени своему под стать, — рассказала мне, что взял ее в жены некто из племени Гассан; человек этот был из Серуджа родом и имел там высокий сан; говорили люди, что острый ум ему был Аллахом дан. Мою мать он покинул накануне самых родов, уехал тайно — и был таков. И какая земля его скрывает, жив он или нет — кто ж теперь знает.

Сказал Абу Зейд:

— У меня никаких не осталось сомнений: это сын родной стоит предо мной! Но я не посмел ему признаться — жалкий бедняк с пустою мошной. Я ушел, а сердце мое разрывалось, и слезами глаза мои заливались. Случалось вам, люди рассудительные, слышать что-нибудь более удивительное?

Мы сказали:

— Клянемся жизнью пророка, нам подобного слышать не приходилось!

Он ответил:

— Тогда запишите скорее, чтоб в недрах истории все сохранилось, и то, что я рассказал, хорошенько запомните сами: ведь такие случайности не часты под небесами!

Тут же мы принесли чернильницу и заострили калам[42] и записали эту историю согласно его словам. Нам выведать мысли его захотелось, и мы попросили:

— Скажи нам, как ты думаешь соединиться с неожиданно найденным сыном?

Он сказал:

— Что карман мой отяжелит, воспитание сына мне облегчит.

Мы обещали Абу Зейду:

— Поможем тебе чем богаты. Как ты думаешь, будет достаточно для этого суммы зеката[43]?

Абу Зейд воскликнул:

— Подобной суммой пренебрегает только безумный!

Говорит рассказчик:

— И каждый долю ему уделил, своею подписью бумагу скрепил. Друзей он за щедрость благодарил, многословной хвалою всех восхвалил. Слишком пышной нам показалась хвала: ведь слишком скромной наша помощь была. Но тут он стал перед нами ткать такие пестрые узоры рассказов, что даже йеменские плащи перед ними поблекли бы сразу.

Так в спокойной беседе, за часом час, ночь прошла незаметно для нас. Вот уже небеса на востоке светлеют и черные локоны ночи седеют. Вот уже разорван плотного мрака покров и сияющий солнечный диск появиться готов. Тут резвой газелью Абу Зейд вскочил и меня за собой потащил:

— Чем раньше возьмемся за дело — тем лучше, поскорее деньги получим. А то уж я тоской изошел: ведь сына нашел я — и словно бы не нашел!

Я пошел с Абу Зейдом и чем мог помогал: указывал путь и советы ему давал. Наконец деньги звонко в кармане его зазвенели, и морщины лица его просветлели. Он воскликнул:

— Достойны прекрасной награды труды твоих неустанных ног, но Аллах наградит тебя лучше, чем я наградить бы мог.

Я сказал:

— Разреши, я отправлюсь с тобой и буду при вашей встрече: я хочу на отпрыска твоего посмотреть и послушать его разумные речи.

И тут обманщик расхохотался до слез и стихи в ответ произнес:

Мой доверчивый друг, я и сам не пойму,
Как рассказу поверили вы моему,
Полноводной рекою признали мираж
И несметной казною — пустую суму.
Нет жены у меня из оазиса Фейд,
Нету Зейда, хоть я и зовусь по нему[44], —
Только выдумки хитрые есть у меня,
В них не следовал я никогда никому.
Сам аль-Асмаи[45] хитростей этих не знал,
Недоступны они аль-Кумейта[46] уму.
Я использую их, чтобы жить — не тужить,
Захочу — и любую добычу возьму.
А без них я остался бы беден и сир,
Прозябал бы в холодном и тесном дому.
Если я провинился — прости уж меня,
Я охотно твое порицанье приму.

И ушел Абу Зейд, кивнув на прощанье мне, и оставил сердце мое в огне.

Перевод А. Долининой

Мерагская макама
(шестая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Однажды в Мераге[47] в диван[48] к писцам я зашел, где собранье любителей слова нашел. Знатоки красноречья сидели кружком и увлеченно вели речь о том, что писатели нынче писать не умеют, ничего в острословье не разумеют, что бразды красноречья еле держат в руках, по бездорожью блуждают впотьмах, а если стремятся прямую дорогу найти, то лишь топчут древних поэтов пути.

В споре воспламенились противники; в корзину беседы без разбору летели финики — не только спелые, полновесные, но и незрелые — мусор словесный.

А в углу, среди слуг, старик сидел и на собранье с прищуром глядел. И было видно по блеску глаз, что старец встанет — вот-вот, сейчас! — да и сразится со всеми зараз. Но долго он в напряженном молчанье перебирал свои стрелы в колчане, до поры затаился, но был начеку — словно лев, что готовится к прыжку. Когда же утих бурный вихрь словопрений, когда погасло пламя суждений и осуждений и кипучий поток речей прекратился, поднялся старик и к собранию обратился:

— Слов удивительных наговорить вы сумели, но как далеко отошли от цели! Прославляете вы истлевшие кости, а против живых исполнены злости, ушедшими вы полны восхищенья, а тех, кто с вами, поите ядом презренья. Вы разбираете старых и новых поэтов, словно золотые и медные монеты. Иль вы не видите, что в наше время не скудеет поэтов славное племя? Дороги нехоженые они находят, их

стихи творенья дедов и отцов превосходят плавной поступью, мерностью, ласкающей ухо напевностью, красотою сравнения, ясностью выражения; безупречны у них восхваления и назидания, золотом редких слов разукрашенные послания. А у древних не только мысли расхожие, но и сравнения на загадки похожие. Люди же их слова лишь оттого повторяют, что старину почитают. Меж тем я знаю живущего, золотые узоры плетущего. Ткань речей его красотой восхищает, умы смущает. Любой из вас придет от него в удивление и раскроет рот в изумлении.

Тут к старику обратился старший писец, среди собравшихся первый мудрец:

— Где же он, кто древних готов посрамить и нас красноречием поразить?

Старик ответил:

— Он стоит пред тобой и готов сейчас же ринуться в бой. Попробуй-ка, испытай меня. Укроти благородного коня!

Тогда возразил чужеземцу дивана глава:

— От хвастливых речей болит голова, У нас воробьев за орлов не считают, а блестящие камни за золото не принимают. Кто против нас осмелится выйти в сраженье, тому глаза засыплет пыль униженья. Услышав полезное назидание, ты, быть может, откажешься от испытания?

Старик отозвался:

— Каждый знает, как далеко стрела его летает. Ты скоро увидишь: ночь твоего сомнения разгонит заря моего вдохновения!

Решили собравшиеся старца проверить, глубину его колодца измерить. И сказал один из сидевших в собрании:

— Я придумаю для него испытание такое, что он не будет знать, что ему делать и что сказать. Готов я взять на себя это дело.

Согласилось собрание, спорить не захотело. Тогда он сказал:

— О почтеннейший, знай, что приехал я в этот край и дружбу с эмиром стал водить, чтобы семью свою прокормить. Когда-то, бывало, доходов моих и дома на жизнь хватало. Но год от года семья разрасталась, запасов совсем у меня не осталось, и, чтобы ноша моя не так тяготила плечи, я стал зарабатывать своим красноречием. И вот после долгих блужданий по миру пришел я к здешнему эмиру. У него на службе нажил состояние, но, увы, гнетет меня даль расстояния от

родной стороны, от милых детей. Уж давно от них я не имею вестей. Начал я эмира просить на верблюде удачи домой меня отпустить. Но после удачи постигла меня неудача — эмир велел мне перед отъездом решить задачу: дабы согласье его снискать, прошенье я должен написать, в котором слова бы так размещались, чтоб согласные с гласными в их начале перемежались, а вступленье к прошению казалось бы голым: содержало бы лишь имена[49] и глаголы, чтобы строго они чередовались, а глаголы бы меж собой рифмовались. Понадеялся я на свое умение и призвал к себе вдохновение. Но жду я его уже целый год, а оно никак ко мне не идет. Целый год я пришпоривал его, побуждая, а оно лишь зевает, в дремоту впадая. За подмогой к писателям я обращался, но такое прошение составить никто не брался. Так если слова твои правдивы, ты мне помоги — сочини столь дивное диво!

Ответил старик:

— Зачем о дожде набухшую тучу просить? Зачем скакуна быстроногого торопить? Ты стрелку искусному лук вручаешь, моряку умелому корабль доверяешь.

Потом помолчал, мысли свои собрал и так продолжал:

— Проситель, поди приготовь чернила, садись и пиши, дабы сказанное не уплыло:

«Благородство украшает, низость очерняет. Прекрасный одаряет, порочный отнимает, степенный угощает, коварный устрашает, щедрый утоляет, крикливый утомляет. Посул иссушает, подарок избавляет, хвала очищает, молитва охраняет, свобода оберегает, сокрытье унижает, небреженье уклоняет, принужденье утесняет. Скупой оставляет, благочестивый оделяет. Клятва утруждает, правда услаждает.

Луна эмира свет излучает, поток его щедрости обогащает. Мудрость эмира беду отдаляет, меч его неправедных истребляет. Помощник эмира плодами одаряется, славящий его милостью удовлетворяется. Твое изволение раба от забот избавляет, ливнем обильным несчастного орошает. Добродетель эмира рекой изливается, несовершенство его рукой устраняется. Но я, заклиная эмира, тени уподобился, благодеянья, однако, не удостоился. Тебя я то улещал, то увещал, тебе угождал, желания упреждал.

Детей я своих обездолил, терпеть унижения приневолил. Омрачают житье их слезы обильные, враги обижают сильные, и терзают их мученья ужасные, горюют они, несчастные. Отягченные бедностью, они голодают и безропотно оскорбления принимают. Оставил покой их давным-давно, одно лишь унынье теперь им дано. О них я печалюсь, о них я вздыхаю, едва подумаю — ум теряю!

О, милость эмира пусть их посетит, упованья печалящихся оживит! Повелитель, им тягости облегчить помоги, исполни просьбу испытанного слуги: отдай приказ его домой отпустить — вечно он будет о тебе Аллаха молить!»

Когда кончил старик прошение диктовать, искусство свое сумев показать, все его восхваляли щедрой хвалой, одаривали наперебой и стали расспрашивать, какого он рода и где обитель его народа. Старик ответил:

Чистокровный араб я из рода Гассана,
Были предки мои все высокого сана.
И очаг мой, как солнце, когда-то горел,
Маяком он светил, души путников грел.
Я в Серудже провел свои светлые годы —
В наслажденьях купался, не знал непогоды,
Яркий юности плащ горделиво носил,
У Аллаха взамен ничего не просил.
Словно райские кущи, в Серудже сады,
Я блаженствовал в них и не знал суеты,
Не боялся превратностей грозного рока
И не знал, что судьба отомстит мне жестоко.
Но, увы, если б нас убивали несчастья,
Я давно бы погиб без людского участья.
Как хочу я ушедшие годы вернуть!
Не колеблясь я выбрал бы правильный путь.
Не пристало мне жить, как скотине в хлеву, —
Узы жизни я лучше уж сразу порву.
Над поверженным львом воет стадо гиен,
Жаждет крови напиться из царственных вен.
О моя злополучная чаша удачи,
Ты обходишь меня — я стенаю и плачу.

Если снова бы счастье вернулось ко мне,
Я бы славил Аллаха вдвойне и втройне!

Молва о поэте быстро росла и до ушей эмира дошла. Старика эмир к себе зовет и жемчугами ему наполняет рот, предлагает один из диванов себе под начало взять — украшением свиты эмировой стать. Дарами эмира старик доволен остался, но пойти на службу к нему отказался.

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Породу дерева я разглядел еще до того, как плод созрел, воссияние луны предсказал, прежде чем старец слово сказал. Но взглядом успел он предостеречь, чтобы я в ножнах оставил свой меч: ведь было бы, право, неблагородно о нашем знакомстве кричать всенародно. Когда Абу Зейд удалился с полной сумой, довольный победой такой, вышел я его проводить, чтоб минуты общения с ним продлить, и стал Абу Зейда укорять за то, что диваном отказался он управлять. Старик улыбкой пресек увещанья и сказал такие слова на прощанье:

Бездомным и нищим скитаться по миру
Приятнее мне, чем служенье эмиру.
Пусть должность предложат мне людям на зависть —
Не горек ли плод, коль червивая завязь?
В руках у эмира и сила и власть —
Опасно в немилость к эмиру попасть.
Коль дело внушает тебе подозренье —
Обманет оно, как в пустыне виденье.
Как часто во сне мы блаженны бываем,
Проснемся — и в ужасе сны забываем.

Перевод В. Борисова

Баркаидская макама *(седьмая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Связанный путами путей и дорог, утружденный плаваньем по морю утрат и тревог, к Баркаиду[50] иракскому я барку свою пригнал — день розговенья[51] там провести пожелал. Наконец утро праздника занялось, народу множество собралось, все спешили к мечети — и пеший и конный, согласно Аллаха закону стремились положенное совершить: подаяние бедным раздать и на молитве побыть. И я, по обычаю, обрядившись в новое платье, вышел с толпой простолюдья и знати. Мечеть наполнялась за рядом ряд; казалось, ни шагу не ступишь — так плотно люди стоят.

Но вдруг какой-то старик с мешком появился меж нами, в черной простой одежде, с закрытыми плотно глазами. Старуха его за рукав вела — как ифрит, безобразной старуха была![52] Шел он, качаясь, словно лишенный сил, слова приветствия чуть слышно произносил. Потом он стал в стороне, руку засунул в мешок, оттуда исписанные листки извлек и приказал ифритке своей средь собравшихся высмотреть богачей и тем, чьи руки влагой полны[53], листки раздать поскорей. Судьба-насмешница и меня наградила листком — разноцветные буквы я увидел на нем:

Я истерзан, я измучен,
Злым недугом туго скручен.
Недруг не дал мне покоя —
Хитрым козням он обучен.

Родич клял меня за бедность,
И коварный и колючий.
Ветвь моей цветущей жизни
Изломал поток кипучий.
В ветхом рубище скитаюсь
И не знал одежды лучшей.
От обиды и страданий
Гибель стала неминучей.
Пусть детей моих несчастных
Громом рок сразит гремучим:
Если бы не их печали,
Что текут слезой горючей,
Я б не гнулся в униженье
Перед сильным и могучим,
Не молил родных злорадных
О поддержке в горе жгучем,
Я доволен был бы жизнью —
К скромной доле я приучен.
Кто ж над засухой моею
Разольется щедрой тучей?
Корку хлеба иль рубашку
Мне пошлет ли добрый случай?[54]

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я стихи до конца прочитал, красивому почерку подивился, и мне захотелось узнать сочинителя и того, кто над перепиской трудился. Тут подсказала моя душа, что старуха укажет мне верный путь и что отнюдь не будет греха, если я ей подарю что-нибудь. А старуха вновь обходила ряды — на всех ладонях искала щедрой влаги следы, но зря рассчитывала на успех: сухими были ладони у всех. Наконец поняла, что надежды ее напрасны, и сказала, увидев, что без пользы пропали стихи прекрасные:

— Все люди — творенья Аллаха, и к Аллаху ведет их обратный путь.

И опять пошла по рядам — обратно листки вернуть. Но про мой листок позабыла — шайтан ее одурачил, и она к старику вернулась,

рыдая и плача. И старухе так ответил старик, когда услышал жалобный вой и крик:

— К Аллаху мы в беде прибегаем, дела ему наши препоручаем, ибо силы и мощи выше не знаем.

И продекламировал:

Не осталось достойных людей на свете,
Нету больше надежных друзей на примете.
Благородные, щедрые души исчезли —
Все давно уж попали в греховные сети!

И добавил:

— На будущее уповай, а листки собери и сосчитай!

Старуха громко в ответ рыдала:

— Я листки собрала и сосчитала, но что поделать, коль злобный рок у меня похитил лучший листок!

Старик возопил:

— Злодейка! Аллах да лишит тебя последних волос! Неужели ты хочешь, негодная, чтоб нам пришлось остаться без дичи и без силков и огня лишиться и дров!

И старуха двинулась по тому же пути, чтобы пропавший листок найти. Я достал злополучный листок, мелкую взял монету, новехонький дирхем[55] добавил к этому и, когда приблизилась ко мне старуха, сказал ей, склонившись к самому уху:

— Как тебе нравится белый, прекрасный, покрытый чеканкой четкой и ясной? Ты получишь его, если мне, как другу, откроешь тайну и тем окажешь услугу. А если откажешься от этой удачи — то бери свой листок и мелочь в придачу.

Видно, она соблазнилась той блестящей белой луной и не стала долго спорить со мной:

— Что ты хочешь узнать — говори напрямик!

Я сказал:

— Мой ум занимает этот старик: откуда он родом, кто таков и кто ему выткал узорную ткань стихов?

Старуха сказала:

— Он странник, Серудж — его город родной, своими руками он вышивает поэзии плащ цветной.

И тут же быстрее, чем ястреб, в дирхем она вцепилась и скорее, чем пущенная из лука стрела, прочь от меня пустилась.

Я подумал: «А вдруг этот жалкий слепец — мой друг Абу Зейд, веселый хитрец?» — и загрустил, что пришлось ему в жизни несладко. Но пожелал проверить, верна ли моя догадка. Однако, чтобы пройти к старику, мне бы пришлось непременно перешагивать через шеи людей, в молитве склоненных смиренно. На это пророком наложен запрет, да и добрых людей обижать не след. И я остался на месте, с него не спуская глаз, ожидая, когда пройдет молитвы положенный час. Люди встали, и я к нему устремился тотчас.

Оказалось, я сметлив, как Ибн Аббас[56], и догадлив, словно Ияс[57], ибо я Абу Зейда сразу узнал, хоть глаз он ослепших не размыкал. Я поспешил рубашку ему подарить и пригласил со мною трапезу разделить. Он обрадовался и подарку, и моему появлению и согласился принять мое угощение: взял меня за руку и пошел как тень по пятам, а старуха, шествие замыкая, ковыляла по нашим следам, как третья подпорка, на которой треножник покоится, как надзор, от которого никто не скроется.

Когда мы вошли в мое жилище и вкусить приготовились скромную пищу, Абу Зейд попросил меня прежде всего ответить, есть ли с нами кто-нибудь третий. Я сказал ему:

— Нет никого, кроме старухи этой.

Он отозвался:

— Она не считается, нет у меня от нее секретов.

И тут он внезапно глаза раскрыл — словно два острия в меня вонзил. Засияли светильники его лица, одинаковые, как два близнеца. Не мог я прийти в себя от радости, что Аллах всевышний не лишил его зрения, однако был весьма поражен его удивительным поведением. Я не мог стерпеть, я молчать был не в силах и спросил:

— Какая нужда в слепца тебя превратила, заставила странствовать в чужих краях и терпеть невзгоды в пустынных степях?

Абу Зейд показал, что закускою занят рот а речь поэтому не идет. Когда же он голод утолил, то внимательный взор на меня обратил и продекламировал:

Наш мир, человеку слывущий отцом,
Нередко прикинется жалким глупцом:
Незрячим рядясь, беззаконья творит —
Так сыну грешно ль притворяться слепцом?

Затем он сказал:

— Теперь, чтоб обед закончить приятно, принеси сюда воды ароматной, чтобы взоры она восхищала цветом и очищала руки при этом, кожу смягчала, рот освежала, желудок и десны бы укрепляла. Пусть эта влага подана будет в чистом, душистом, звонком сосуде, пусть поцелуем коснется щеки, нежная, словно цветка лепестки. А кроме того, принеси зубочистку — после трапезы рот хорошенько очистить — стройную, тонкую, словно влюбленный, отполированную, как меч обнаженный, гибкую, точно девичий стан, страстно стремящуюся к устам, чтобы вглубь проникало, словно копье, но плоть не терзало ее острие!

Говорит рассказчик:

— Я побежал поскорее все раздобыть, дорогого гостя хотел ублажить. Я не думал, что он замышляет дурное, что посмеяться решил надо мною, что в просьбе его один лишь прок — меня удалить на короткий срок. Когда я вернулся — быстрее вздоха, сразу понял, что дело плохо: я место застал уже пустым — Абу Зейд со старухой исчезли как дым. Справедливый гнев не в силах унять, я пустился гостей догонять. Но напрасно — казалось, что их поглотила река иль ветер забросил за облака.

Перевод А. Долининой

Мааррийская макама *(восьмая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Раз в аль-Маарре[58] слышал я удивительный спор: явились двое к судье во двор — беззубый старик, что с утехами плоти, как видно, давно распрощался, и томный юнец, чей стан, как нежная ветвь, изгибался. Старик сказал:

— Аллах да умножит силы мудрого кади[59], чтобы тот, кто прав, у него не остался в накладе. Рассуди нас: была у меня невольница — и трудолюбица и угодница, с боками тонкими и прямою спиной, с телом, прохладным даже в июльский зной. Она то в своем уголке ютится, то скачет, как резвая кобылица. Но умерена резвость ее крепкой уздой и узлом, что тянет она за собой. У кого в ней нужда — тот покрепче ее обоймет и в платье со шлейфом гулять поведет, но не всем управиться с ней легко — иного ранит она глубоко: хоть рот без зубов, да остер язык, что неловкие пальцы жалить привык. А если она в искусных руках окажется — словно дразнит: то спрячется, то покажется.

Дело полезное моя невольница знала: что разъято — прочно соединяла. Была ловка она, и в работе проворна, и при скудости и при достатке покорна. И по шелку бегала, и по дерюге — было ей все равно; потом поили ее, не сладким вином. Верой и правдой служила, хозяевам угождала, а уж если сердилась — как огнем обжигала!

Этот юноша выпросил у меня невольницу для неких дел. Я уступил ее на время и брать за это ничего не хотел: пусть, мол, пользуется — об одном лишь просил я: работы ей не давать непосильной. А он пожелал извлечь для себя побольше проку и стал

наслаждаться ею без отдыха и без сроку, так что вернул ее порченую, истерзанную, ни на что уж более не полезную. В залог же он мне оставил, признаюсь, то, в чем я вовсе не нуждаюсь.

Ответил юноша:

— Старик не солгал ни слова, но я искалечил ее случайно, без умысла злого. А за эту невольницу я в залог ему предложил невольника черного, которым особенно дорожил, слугу покорного и исправного, в украшении и лечении помощника славного, чистого, стройного станом, свободного от любого изъяна. Красотой своей он для других не скупится, тем, что имеет, всегда готов поделиться. Быстро он поднимается на щедрости зов, если нужно добавить — он и добавить готов. Каждый, кто помощи у него попросит, его и хвалит и превозносит. В доме ему никогда не сидится; сразу двух жен он берет, если захочет жениться, их приласкает и разукрасит своею рукой, а потом отправится на покой.

Тут судья им строго велел:

— Или намеки свои разъясните — или прочь уходите!

И юноша снова заговорил:

Он дал мне иголку — лохмотья зашить,
Истертую, ржавую — где уж в ней прыть!
А я ту иголку случайно сломал —
Тянул я за ней слишком длинную нить.
Но требует выкупа жадный старик,
Оплошность мою он не хочет простить.
«Отдай мне иглу! — он все время твердит. —
Иль денег давай, чтоб ущерб возместить!»
Взял миль он в залог — сурьмяной карандаш,
Которым привык я глаза подводить.
Я с белыми веками так и хожу…
Подобный позор я могу ль пережить?!
Прошу тебя сжалиться, мудрый судья,
И, как справедливость велит, рассудить!

Тут к старику повернулся судья:

— Ну, отвечай без обмана, очередь наступила твоя!

И старик сказал:

Клянусь я камнями святых городов[60],
Куда нас влечет благочестия зов:
Не стал бы в залог я и брать этот миль,
Живи я в достатке, будь сыт и здоров.
Не стал бы я требовать денег с него,
Любую оплошность простил бы без слов.
Но рок натянул свой безжалостный лук
И в сердце стрелу мне направить готов.
Убог я и голоден, бледен и худ,
Я узник уныния тяжких оков.
Судьба нас сравняла, и злая нужда
Обоим раскинула мрачный покров.
Лишился он миля и плачет о нем,
Но я непреклонен, я буду суров:
Ведь слишком я беден, чтоб людям прощать
Ущербы в имуществе — я не таков!
Суди нас по правде, о мудрый судья,
И щедрой рукой одари бедняков!

Судья наконец уловил их намеки и не захотел показаться жестоким. Достал он динар[61] и сказал:

— Меж собой его поделите и тяжбу свою прекратите!

Оглянуться никто не успел, как руку старик протянул — и динар исчез у него в кулаке, едва пред глазами мелькнул. А при этом старик сказал:

— Половина динара — доля моя в подаренье, а твоя половина — мне за иглу возмещенье! Но я не хочу бесчестным слыть — забирай свой миль, так уж и быть!

Ускользнувших денет юноше стало жаль, охватила его печаль, на лицо опустилась туча тревожная: понял он, что динар вернуть невозможно. Но судья и его ублаготворил: пару дирхемов[62] дать соблаговолил и сказал:

— Вашему спору давно пора прекратиться, больше ко мне не приходите судиться: бездонных нет у меня карманов для пополнения

ваших изъянов!

Спорщики вышли, радуясь и сияя, красноречиво судью восхваляя. А в сердце судьи не угасала досада: пенял он себе, что мужу разумному так поступать не надо; расточительность, дескать, разум его источила и камень рукй его увлажнила. Сказал он своим приближенным:

— Охватило меня сомненье, и подсказывает мне подозренье, что это вовсе не спорщики были, а два плута, что нас перехитрили. Мне бы хотелось их испытать и тайну их разузнать.

А был у судьи помощник — человеческих душ знаток, в букете его приближенных лучший цветок. Он посоветовал:

— Надо их воротить и, если мы тайну хотим раскрыть, обоих как следует допросить.

Судья поскорее послал слугу, любопытством томим, в, когда оба спорщика вновь предстали пред ним, он строго сказал:

— Если правдивые услышу признанья, за проделку не будет вам наказанья.

Засмущался юноша, потупил глаза, старик же вышел вперед и такие стихи сказал:

Недаром часто говорит молва:
У львенка зубы остры, как у льва.
Я серуджиец родом, он — мой сын,
Из наших уст рекой текут слова.
У нас ни миля нету, ни иглы,
Зато полна уловок голова!
Однако наша участь нелегка:
Коварная судьбина такова,
Что гонит нас насущный хлеб просить
У всех, в ком капля щедрости жива.
Где скажем в шутку слово, где всерьез —
Ведь бедность в ухищрениях права:
Нас смерть давно в засаде стережет,
Засучивая злобно рукава!

Судья воскликнул:

— Умеешь ты говорить красиво и рьяно! О, как ты был бы хорош, если б действовал без обмана! Хочу я дать тебе добрый совет: судей вводить в заблужденье не след. Могучих правителей остерегайся, на глаза им лучше не попадайся: ведь не всякий одобрит твое шутовство и не всякий простит тебе плутовство!

Старик обещал полезный совет принять и такую личину больше не надевать. Ушел от судьи он с видом смиренным, но лукавство сверкнуло в его глазах откровенно.

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Ничего удивительнее этого случая мною в превратностях странствий не видано, ничего подобного в мудрых книгах не читано.

Перевод А. Долининой

Александрийская макама *(девятая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Молодому дома не сидится — жаждет молодой купец нажиться. Так изведал я дороги Магриба и узнал пути Машрика[63]. Не раз я в жизни рисковал, но состояние сковал. Внимал я заветам мудрецов и советам умных купцов. Вот один из них — не хуже, не лучше других: «Вступая в незнакомый град, ты разузнай у самых врат, чем городской судья богат и чему он будет рад». Учтивостью я кади[64] покорял, благоразумием к себе располагал, чтоб у меня была опора, если возникнет с кем-нибудь ссора. Старался я дружбу с кади вести, дабы свои интересы блюсти. И дружба та была неразрывна, как смесь вина с водой неразливна. Сильный дух укрепляет тело, а знакомый судья — торговое дело.

В Александрии[65] у кади однажды я был. Дул ветер холодный, и ливень лил. Неимущих просьбы судья разбирал, даянья богатых он им раздавал. Вдруг моложавая женщина входит к судье, невзрачный старик за ней — как на узде. Сказала красавица:

— Да будет Аллах для судьи советчиком, чтобы довольны были истцы и ответчики! О судья, я — из знатного рода, и вся родня моя благородна. Я — женщина скромная, честная, целомудрием известная. Меж мной и соседками разница есть: моих добродетелей не перечесть! Когда меня сватали мужи именитые и богачи знаменитые, мой отец насмешкой им рот затыкал и без разговоров со двора прогонял: не хотел он с ними родниться, не желал о подарки их осквернриться. Он Аллаху поклялся, что будущий зять ремесло из ремесел будет знать.

Но решила злая судьба моя, что женой обманщика стала я — вот этот злодей к отцу явился, клятвы давал, мастерством хвалился: «Пару жемчужин я так подберу, что пятьсот динаров за них беру!» И тут объявил отец родне, что ювелир будет мужем мне. И не подумал узнать отец, честен этот жених или хитрец. А плут взял меня из-под крова родного, привел под кровлю дома чужого, и тут увидала я, что ловкий мой муж любит поспать, свернувшись, как уж. Да что толковать: мой муж — лентяй, соня, бездельник и слюнтяй! Мое приданое — не одни надежды, а деньги, ковры, вороха одежды. Но муж за бесценок стал все продавать и сладкой едою живот набивать. Не только имущество в прах превратилось — сама с таким мужем вконец истомилась. И стала ему говорить: «Эй ты! Ведь мы стоим на краю нищеты. Была у тебя жена богата, а сейчас у нее на заплате заплата. Займись ремеслом! Ты поел моего, дай и мне вкусить от куска твоего!» Он сказал: «Ремесло мое нынче в застое: испортились вкусы — не в цене украшение золотое». Есть у нас сын — мальчик хороший, да от худобы на зубочистку похожий. Отец нас ни разу не накормил, слез наших ни разу не осушил. И вот муженька я к тебе привела — вконец его лень меня извела! Проверь, где правда в наших словах, и рассуди, как подскажет тебе Аллах.

Судья сказал старику:

— Ну что ж! Не оправдаешься — в тюрьму попадешь! Если жена не права, скажи. И свою правоту докажи!

Потупил было взор старик, да к смирению, видно, он не привык. Вот он засучил рукава и ринулся в бой, сказав такие слова:

Послушай рассказ удивительный мой —
И ты посмеешься, поплачешь со мной.
В натуре моей и черты нет плохой,
Зато добродетелей в ней — целый рой!
Мой род — гассаниды[66] — прославлен судьбой,
А славный Серудж — это край мой родной.
Богатство мое — не мешок золотой,
А звонкие рифмы, что льются рекой.
Я в бездну наук погружен с головой,
Такая работа — не хуже другой.
И, словно ныряльщик в пучине морской,

Ловлю я жемчужины в речи людской.
Я рву красноречия плод наливной
(Другие — лишь хворост ломают сухой).
И слов серебро под искусной рукой
Горит, словно солнечный луч золотой.
Когда-то талант сочинительский мой
Вознес меня так высоко над толпой:
Подарки текли изобильной струей,
Я дар отвергал, если он небольшой.
Сегодня талант уж не ценится мой:
На рынке поэзии полный застой,
А слава певца — это звук лишь пустой —
Никто не желает и знаться с тобой!
Теперь от поэта бездельник любой,
Как будто от падали смрадной, гнилой,
Лицо отвращает, идет стороной.
Смутился мой ум от напасти такой —
Окутала ночь меня тьмою густой.
Теперь во мне нет уже силы былой —
Тоска и заботы владеют душой,
И тело истерзано злой нищетой.
Печальный, бреду я постыдной стезей —
Ведь я обездолен неправой судьбой.
И все, до последней подстилки худой,
Я продал — и сплю, укрываясь полой.
Долги мою шею стянули петлей —
Не вырваться мне из петли роковой.
Измучил однажды нас голод лихой:
Пять дней — и ни крошки во рту ни одной!
Тогда подсказал мне желудок пустой:
«Приданое — где еще выход иной?»
Но сердце так мучилось горькой виной,
Глаза увлажнялись горючей слезой.
Я все продавал по согласью с женой,
Чтоб гнев не гремел над моей головой.
Она же — ты видишь — грозит мне войной,
Как будто поверила мысли пустой,

Что долг мой — нанизывать жемчуг простой.
Иль думает, что пред отцом и родней
Бахвалился слов я обманной игрой?
Аллахом клянусь я и Каабой святой,
Куда караваны стремятся чредой:
Обман мне противен, натуре прямой,
С женою лукавить — обычай не мой!
Перо неразлучно с моею рукой,
Я с детства не ведал работы иной.
Перо и бумага дружили со мной.
Не бисер низал я, не жемчуг морской —
Я рифмой вязал стих звенящий, тугой.
Я хлеб добывал не работой ручной,
А мыслью, ума преискусной игрой.
Правдиво я все изложил пред тобой —
Суди, как подскажет твой разум благой.

Старик, опустив лукавый взор, вывел в стихах последний узор. Тут судья обратился к его жене:

— Знай, твой супруг тронул сердце мне! В наши дни пресеклось племя честных и добрых, но плодится семья людей подлых и злобных. Твоего же супруга нельзя укорять: он, я считаю, лучшим под стать. Ведь честно сказал он, что задолжал, что не жемчуг, а слов череду он низал и что голод кости его глодал. Повинную голову меч не сечет, загнать в тюрьму бедняка не расчет. Скрывающий бедность — благочестив, терпеливый — у бога в чести. Ступай домой и вину прости владельцу твоей невинности. Не горячись, побольше молчи и воле Аллаха себя поручи.

Потом судья отделил часть добра и сказал, подавая им горсть серебра:

— Да будет сей дар для вас утешением, вашей засухи живительным орошением. Стойко терпите невзгоды судьбы — и Аллах одарит вас, может быть.

Встали супруги, простились с судьей. И сразу повеселел наш герой, как пленник, расставшийся с кандалами, иль нищий, нашедший кошель с деньгами.

Продолжил рассказчик:

— Я Абу Зейда тотчас же узнал, когда он пред очи судьи предстал, словно солнце сквозь тучи всем заблистал. И пока они препирались с женой, я был занят мыслью такой: «Рассказать ли судье о талантах старца? Да… но вполне ведь может статься, что кади, увидев лжи позолоту, к щедрости потеряет охоту». Я сомневался и потому промолчал. Но все, что услышал, записал — на скрижалях своей души. Так пишет ангел людские грехи. Но сказал я судье, когда Абу Зейд ушел:

— Вот если бы кто вслед за ним пошел… Мы узнали бы, что он сейчас замышляет и в какую оправу свой жемчуг вставляет.

Кади тотчас послал писца, тайных сведений опытного ловца. И вскоре вернулся писец, хохоча, как камень, летящий с горы, грохоча.

— Что с тобою? — спросил судья.

Он в ответ:

— Ну и чудо же видел я! И слова какие смешные слышал!

— А что?

— Да старик за порог только вышел, мигом бросился во всю прыть да как начал в ладоши бить! А потом пустился плясать и во все горло распевать:

Заведи в дому гиену —
Зла дождешься непременно!
Ох, сидеть бы мне в темнице —
Да помог судья почтенный!

Тут лицо у кади повеселело, вся важность с него слетела. Он залился таким раскатистым смехом, что судейский колпак ему на ухо съехал. Когда же степенность вернулась к кади, сказал он:

— Простите меня, бога ради! О Аллах, ты рабов своих хранишь, благочестивым близость сулишь, приблизь и учтивых к награде заветной: сделай для них тюрьму запретной!

Потом приказал:

— Вернуть старика сюда!

Писец побежал — но не нашел его и следа. Тогда молвил судья:

— Если б старик ко мне явился, за ним бы тюремный замóк не закрылся. Я наградил бы его вдвойне — очень уж он полюбился мне!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда я увидел, что к Абу Зейду судья расположен, что новый дар ему был бы возможен, я раскаялся, как Фараздак[67], Навары злосчастный друг, или Кусаий[68], со злости сломавший свой лук.

Перевод В. Борисова

Рахбийская макама
(десятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Пристрастие к путешествиям повлекло меня за собой, и я оседлал верблюдицу, собираясь поспорить с судьбой, решимости меч не мешкая обнажил и в дорогу далекую поспешил. В Рахбе сирийской[69] я бросил свои якоря, за надежный приют Аллаха благодаря. И когда, отдохнув, я вышел из бани с чисто выбритой головой, я был остановлен пестрой и шумной толпой. Вижу — мальчик в толпе, красивый и стройный, как тополь, и какой-то старик за рукав его тянет, издавая громкие вопли: дескать, сына его этот мальчик убил! А мальчик клянется изо всех своих сил, что напрасны вовсе его обвинения и ужасны и злостны его подозрения.

Спор разгорался, искры летели, ни на чем сойтись они не хотели. Наконец решили: пусть рассудит их дело вали[70]. А за этим вали дурные склонности знали: в пристрастии к мальчикам подозревали. Спорщики бросились к дому вали быстрее, чем ас-Сулейк-скороход[71], и старик перед вали повторил свои жалобы, надеясь на удачный исход. Но локоны мальчика успели вали пленить, унести его ум и сердце его покорить, и вали велел ему говорить.

Мальчик сказал:

— Это черная ложь очернителя и злая хула хулителя! Я в убийстве сына его неповинен, об этом злодействе я и не слышал доныне!

Вали сказал старику:

— Двух свидетелей полномочных тебе представить придется, а иначе — пусть мальчик в своей невиновности поклянется[72].

Старик отвечал:

— Он напал на сына в стороне отдаленной, пролил кровь его в местности уединенной, и никто не попался ему на пути — так откуда ж свидетелей мне найти? Прикажи мне, о вали, подсказать ему клятвы слова, и ты разберешься, где правда, а где пустая молва!

И вали тотчас же согласился на просьбу бедного старика:

— Ты имеешь на это право, ибо скорбь твоя весьма велика.

Старик обратился к мальчику:

— Повторяй же за мной: клянусь тем, кто меня наделил красотой, тем, кто локоны мне на чело опустил, черноту зрачкам моим подарил, кто срастись приказал моим бровям и придал белизну моим зубам, тем, кто томными сделал веки мои, так что тени ресниц на лицо легли, кто налил мои ланиты огнем, оросил мои зубы ароматным вином, сделал сладостной музыкой голоса звуки, сделал стройным мой стан и нежными руки — ни по злому умыслу, ни случайно твоего я сына не убивал, меч мой ножны свои тугие на тело его не сменял!

Если лгу — пусть накажет меня Аллах, пусть рассыплет он сыпь на моих щеках, пусть глаза мои он наполнит гноем, пусть покроет он зубы мои желтизною, пусть он сделает локоны лысиной голой, розу щек моих свежих — увядшей и блеклой, серебро моей кожи — серой золой, свет улыбки моей — беспросветною тьмой, аромат моих уст — зловонием скверным и луну лица моего — ущербной!

Но мальчик воскликнул:

— В огне геенны я скорее гореть соглашусь, только клятвой такою в жизни не поклянусь! Пусть лучше уж кровь моя прольется — ведь подобной клятвой никто не клянется.

Но старик настаивал, чтобы мальчик слово в слово все повторил, чтобы тягостность этой клятвы он сполна бы вкусил. И все разгорался их раздора костер, и на дороге их примирения вырастал за бугром бугор.

Мальчик своим упорным отказом душу вали похитил сразу. Овладели желания сердцем вали, у него и разум и волю отняли. Так любовь, его полностью поработившая, и страсть, сластолюбие в нем разбудившая, подсказали вали исподтишка вызволить мальчика из рук старика, от смертельных силков его избавить и силки другие ему расставить. И вали тогда сказал старику:

— Хочешь ли ты поступить благородно и, как мусульманину подобает, дело свершить богоугодное?

Старик попросил:

— Проясни свой намек, чтобы я поступить по воле Аллаха мог.

И вали сказал ему:

— Не молви больше ни слова, а сотню мискалей[73] возьми отступного. Часть этой суммы я тебе выплачу сам, остальное — соберу с людей и отдам.

Старик согласился:

— Ну что ж, давай! Только слóва, смотри, не нарушай!

Вали двадцать мискалей ему отсчитал и своим помощникам приказал, чтобы каждый расщедрился — и стар и млад; так набрали мискалей пятьдесят.

Тем временем ночь разорвала одежды дня и заставила щедрость распрячь своего коня. Тогда к старику обратился вали:

— Возьми ту часть, что сегодня собрали. Завтра я потружусь — и сумму эту ты сполна получишь звонкой монетой.

Старик сказал:

— Пусть так, но с условием, что эту ночь он со мной проведет: я сторожить его буду строго, меня уж никто не проведет! А наутро, когда я долг получу, как ты обещал, монетою звонкой, вот тогда я его отпущу, освободится яйцо от цыпленка[74]. Он будет считаться ни в чем не повинным отныне, как волк неповинен в убийстве Якубова сына[75].

Вали ответил:

— Я на это готов согласиться, такое условие мне годится!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я услышал доводы старика, достойные славного мудреца, и мне показалось, что я узнаю черты знакомого мне лица. Когда в темном небе звезды зажглись, а люди все по домам разошлись, поспешил я к вали во двор, со стариком повел разговор:

— Скажи, ты и вправду Абу Зейд или это мои пустые домыслы?

Он воскликнул:

— Да, Аллахом клянусь, тем, кто сделал ловлю дозволенным промыслом!

Я спросил:

— А что за мальчик с тобой, сводящий с ума своей красотой?

Абу Зейд отвечал:

— Это мой сынок, для таких, как наш вали, надежный силок!

— Красота его — отцу отрада. Неужель для обмана ее использовать надо?

— Если б кудри его не пленили вали, не видать мне пятидесяти мискалей!

Потом сказал:

— Не уходи, давай эту ночь мы с тобой просидим и разговорами до утра жажду общения утолим. Ведь завтра с рассветом я эту обитель покину, а вали оставлю раскаянье и кручину.

Так ночь я провел с приятным соседом среди ароматных садов беседы. Лишь края небес зарей осветились, Абу Зейд и мальчик со мною простились и оставили вали гореть в огне сожаления, испытывать тягостные мучения. А когда Абу Зейд тайком со двора выходил, он письмо запечатанное мне вручил:

— Отдай его вали, ради бога, как только заметят, что мы сбежали, и в доме начнется тревога.

Но, словно аль-Муталяммис[76], письмо я открыл украдкой; я полагаю, что вали читать его было б несладко:

О покинутый, дважды обманутый вали!
Мы и деньги, и разум твой разом забрали!
И теперь ты в раскаянье пальцы кусаешь:
В двух потерях утешиться сможешь едва ли!
Ты растратил казну, повинуясь соблазну, —
Так за это безумца казнить не пора ли?
Не тоскуй, о влюбленный! Без пользы мы ищем
След того, что навеки уже потеряли!
Ты горюешь сильнее, чем те мусульмане,
Что скорбели над гробом Хусейна ибн Али[77],
Но зато приобрел ты и мудрость и опыт —
То, что люди разумные вечно искали.
Впредь не будешь так слепо страстям подчиняться —
Рассуди, на газелей охота легка ли?
Знай, не всякая птица в силки попадает,
Если золотом даже ее соблазняли!
Часто людям казалось: близка их добыча,

Но лишь туфли Хунейна[78] они добывали!
Не любуйся на молнию: так уж бывало —
Смертоносные громы за ней громыхали!
И удерживай взор от соблазна и страсти,
Ибо страсти порочны, противны морали.
А начало всех бедствий таится во взорах:
Ведь всегда они страсти в сердцах порождали!

Говорит рассказчик:

— Я, прочитав, разорвал на клочки Абу Зейда насмешливое посланье. Не знаю, поносит обманщика вали или нашел ему оправданье?

Перевод А. Долининой

Савская макама
(одиннадцатая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Сердце мое ожесточилось — видно, от странствий оно утомилось, и, в Саву[79] приехав, я его врачевать решил по завету пророка — посещеньем святых могил. И когда я пришел в обитель печали, туда, где в земле истлевшие кости лежали, я увидел толпу людей у могилы открытой и тело, которое вот-вот в могилу будет зарыто. Размышляя о возвращенье к Аллаху, подошел я на похороны взглянуть, вспоминая родных и друзей, кого провожал я в последний путь! А когда свершился обряд погребения, когда замолкли слова сожаления, некий старец с посохом странника взошел на холмик земли, но лица его мы разглядеть не могли, ибо голову он закутал плащом (что в этом кроется хитрость — я не ведал еще). Он сказал:

— Зрелищем сим поучайтесь, благочестивые! Засучив рукава трудитесь вы, нерадивые! Призадумайтесь, о беспечные, как ваши дни бегут быстротечные! Почему не печалит вас погребение ваших родных? Почему вы печетесь лишь о делах земных? Почему превратности времени вас не тревожат? И мысль о грядущей смерти не гложет? Или ваши глаза не плачут о кончине близких людей и уши не слышат грустных вестей? Или потеря друга нисколько вас не страшит и плач о погибшем трепета вам не внушит?

Ты на кладбище мертвого провожаешь, но в этот миг о мирском помышляешь. Вот ты присутствуешь при погребении, а в мыслях твоих одни развлечения. Ты любимого друга оставляешь червям на съедение, а сам предаешься постыдным увеселениям. Потеряв жалкий

грош, ты от горя волосы рвешь. Неужели это снести тяжелей, чем потерю милых друзей? Ты безутешен, коль терпишь нужду и лишения, — почему же, близких лишаясь, ты всегда найдешь утешение? Вашему смеху теперь и гибель родных не помеха, но в день воскресения будет вам не до смеха. Вы идете за гробом гордой походкой. Одумайтесь! В день расчета гордость — товар не ходкий!

Вы отворачиваетесь от беды, чтобы вдоволь наесться вкусной еды. Не хотите вы слушать плакальщиц скорбный стон — слаще для вас чаши веселый звон. Вы о тех не горюете, кто под землею лежит, словно сами избавлены от тяжелых могильных плит. Вы не хотите думать о смертном часе своем, словно уверены, что с судьбою поладите вы вдвоем, словно есть у вас от ангела смерти защита, словно души у вас от огня надежно укрыты. Но нет! Зря вы об этом мечтаете! Нет и нет! Скоро вы все узнаете!

Затем он продекламировал:

О не знающий сомненья
Раб порочного влеченья!
Долго ль будешь в заблужденье
Ты ошибки совершать?!

Иль не ведаешь порока
И не ждешь расплаты срока,
Иль суровому уроку
Уши не хотят внимать?

Разве грозные седины
И жестокие морщины
Не предвестники кончины?
Страсти следует унять!

Меж друзей бесстыдно льстивых
Ты ступаешь горделиво,
Усмирив добра порывы, —
Истины не хочешь знать.

Сколь дурны твои деянья,

Сколь безнравственны желанья!
Ты не веришь в наказанье,
Что за гробом будет ждать!

Если ты прогневал бога —
Ты тревожишься немного:
У тебя одна тревога —
Строгий счет деньгам держать!

Для себя сочтешь похвальным
Ты прикинуться печальным
У носилок погребальных —
И спокойно будешь спать.

Но покинешь сразу ложе —
Радость сердце растревожит, —
Если ты случайно сможешь
Звон динаров[80] услыхать!

Пренебрег ты мудрым мужем —
Знать, совет его не нужен;
Лишь с обманщиком ты дружен,
Самому себе под стать.

Ложь и хитрость в ход пускаешь,
Ловко душу ублажаешь
И о смерти забываешь,
Но ее не избежать!

Ты кровавою слезою
Будешь плакать над собою:
В час расплаты не укроют
Ни отец, ни брат, ни мать!

Кто же о тебе потужит?
Будешь стыть в могильной стуже.
Дом ушка иголки у́же —

В нем останешься лежать!

Нет, никто не пожалеет!
Кости под землей истлеют,
Остальное все успеют
Черви жадные пожрать.

В день Суда ты будешь поднят:
Прозвучит приказ господний,
Ляжет мост над преисподней,
Чтобы души испытать[81].

Сколько мудрых оступилось,
Сколько их с дороги сбилось!
Как они не научились
Поучению внимать?!

Так поторопись, невежда,
Сбрось величия одежды,
К богу обрати надежды,
Праведным старайся стать!

Не пленяйся ты судьбою,
Хоть мягка она с тобою:
Станет лютою змеею
Яд смертельный извергать!

Легкой не гордись удачей —
Что она для счастья значит?
Научи свой нрав горячий
Злое слово удержать.

В горе помоги несчастным,
Не останься безучастным —
Ты подумай, как прекрасно
Неимущему давать!

Будь же щедрым без оглядки,
Скупости забудь повадки,
Не горюй при недостатке,
Не стремись приобретать!

Ты порока опасайся,
Против низости сражайся
И в людских делах старайся
Что разорвано — связать!

Так ступай стезей смиренной,
Не прельщайся миром бренным
И готовься постепенно
Перед господом предстать!

Призадумайся об этом
И внемли моим советам.
Озарен ты правды светом —
Так не возвращайся вспять!

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Замолчав, засучил проповедник повыше рукав и вытянул руку, бесстыдство свое обнажая, от стоящих вокруг могилы щедрости ожидая. Все были растроганы и спешили одарить хитреца; этих людей благородных выдоил он до конца. И тогда он спустился, радуясь подношеньям, а люди глаз не сводили с него, полны восхищенья. За край плаща я сзади его потянул, он обернулся, лицо приоткрыл и весело подмигнул. Оказалось, что это — Абу Зейд, старинный наш друг; ловкие плутни всегда ему сходят с рук! Я сказал ему:

Долго ль, Абу Зейд беспутный,
Будешь строить людям плутни,
Лгать в в праздники и в будни,
Чтоб добычу привлекать?

Абу Зейд ответил без промедленья (и в лице его не было ни тени смущенья):

Кто же нынче отвернется,
Коль удача улыбнется
И проделка удается?
Так не стоит упрекать!

Я сказал:

— Пропади ты, дьявол, плетущий козней узоры, верблюд, навьюченный грузом позора! Заслужил ты по праву упреки мои и проклятья: кто лучше тебя умеет порок одеть в добродетели платье? Ты словно навоз в золоченой ране иль отхожее место, увешанное коврами!

Выслушал Абу Зейд мои укоризны без обиды и гнева; мы простились и разошлись: я — направо, а он — налево.

Перевод А. Долининой

Дамасская макама *(двенадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Раз из Ирака отправился я в Дамасскую Гуту[82]: снял с верблюдиц породистых крепкие путы, навьючил на них тюки с поклажей богатой, нагрузил свой кошель звонким златом — словно вымя, полное молока, — чтоб в дороге от скудости не сжималась рука. На пути много трудностей мы претерпели; устали наши верблюдицы и ослабели. Но я увидел, что справедлив о Гуте людской рассказ: все вокруг веселило душу и тешило глаз.

Благодарный судьбе за ниспосланные услады, сломал я страстей преграды и в их бесконечном кружении сбирал повсюду плоды наслаждения, пока мои спутники не замыслили возвращение. И тогда я от ослепленья очнулся, родину вспомнил и сердцем к ней потянулся. Свернул палатку разлуки и узду возвращения взял я в руки. Все были готовы, меж собой сговорились, но пуститься в путь не решились: нам нужен был сторож и проводник, что к трудным путям в пустыне привык. Мы по всем племенам его искали, тысячи хитростей употребляли, но напрасны были наши старания и ухищрения — скоро нас охватили сомнения: а найдется ли средь живых такой, кто сможет в пути сохранить нам покой?

И вот мы сошлись у дамасских ворот, чтобы решить, как дальше дело пойдет. И весы наших мнений то опускались, то поднимались, узлы решений то затягивались, то распускались. Наконец наши доводы все иссякли и не осталось надежды ни капли. А против нас сидел на камнях человек в капюшоне, по виду монах, четки ходили проворно в

его руках. Он следил за нами пристальным взором и явно прислушивался к разговорам. Наши волнения он уловил и, когда мы решили расстаться, вдруг с нами заговорил.

Сказал он:

— О путники! Мне вас жаль! Пусть успокоятся ваши души и пусть растает печаль! Я готов рассеять вашу боязнь, с караваном пойти, чтоб охранять его в пути.

Говорит рассказчик:

— Обещав ему высокую плату, мы пожелали узнать, в его ли силах караван охранять. Он ответил: «Во сне мне ниспосланы были слова такие, что отводят любые козни — и джинновские[83] и людские».

Услыхав это, мы переглянулись, меж собою перемигнулись. А ему стало ясно по недоверчивым лицам, что нам кажется, будто он в сторожа не годится. Тогда он сказал:

— Зря вы золото считаете сором, а мои серьезные речи — вздором. Аллах свидетель, объездил я многие страны, из страшных опасностей выводил свои караваны, и ниспосланных слов чудесная сила без стрел и без стражников меня хранила. Я уничтожу ваши сомнения и в пути по пустыне рассею все опасения. Обо мне вы сами рассудите здраво, когда я проведу вас сквозь пустыню до ас-Самавы[84]. Коль окажутся правдой мои слова, вы меня за труд хорошо наградите; коль окажутся ложью мои слова, накажите меня, как хотите: хотите — колите позора копьем, хотите — рубите острым мечом.

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Так заставил он нас поверить в его сновидение и без спора принять его предложение, разорвав решимостью петли сомнения. Мы подумали: теперь нам не страшен ни разбойник, ни злой шутник, и кинули жребий — на чьем верблюде поедет наш проводник. Вот подвязаны седла, готов караван в дорогу, но мы задержались еще немного: попросить, чтоб слова заветные были и нам открыты — тогда мы будем в любое время под надежной защитой.

Проводник ответил:

— О друзья, услышьте меня! Дважды в сутки, на грани ночи и дня, каждый из вас пусть Фатиху[85] тихо прочтет и такую молитву смиренно произнесет: «О Аллах, оживляющий истлевшие кости! О

господь, избавляющий от скрытой злости! От беды любой охраняющий, от щедрот своих награждающий! О прибежище жаждущих спасения! О владыка прощения и снисхождения! Своего посланника благослови, достойного почестей и любви, и его родных пресветлые лики, и его сподвижников — мужей великих! Спаси меня от наущений шайтана, от угнетений султана, от притеснений тирана, от гонений гонителя, от преследований притеснителя, от вражды ненавистника, от злобы завистника, от нападения подавляющих, от подавления нападающих, от козней хитрецов, от обмана лжецов! Спаси от соседей наседающих, от заступников наступающих, от друзей удручающих! Из бездны выведи, куда ввергнуты скверные, и под кущи введи, где рабы твои верные!

О Аллах! Сбереги меня в доме родном и в краю чужом, при отправлении и при возвращении, в дальней дороге и на от чем пороге, в делах утруждающих, в досугах услаждающих, в трудностях и превратностях, в радостях и приятностях! Сохрани души моей чистоту и мошны полноту! Сохрани мою честь и добро, которое в доме есть, и семью мою, и родных, и долю мою от благ земных, и силу, и бодрое состояние, и богатство, и щедрое достояние! Не готовь перемен мне от счастья к несчастью, злодею не дай надо мною власти и пошли мне помощника от всех напастей!

О Аллах! Моим охранителем и покровителем будь, в благодеяниях меня не забудь! Ко благу веди меня по пути благому и не поручай попечителю другому! Даруй мне здоровье завидное и благоденствие благовидное! От бедствия бедности меня избавь и заступника праведного ко мне направь! Не дай погубить меня когтям врагов — ты ведь внемлешь молитвам твоих рабов!»

Кончив речь, старец очи вниз опустил и замолчал, словно лишился сознанья и сил. То ли был он тайной мыслью томим, то ли страх пред Аллахом сделал его немым. Затем он голову поднял и стал глубоко вздыхать, прежде чем новую речь начать. Наконец он сказал:

— Клянусь созвездьями в небесных мирах, клянусь дорогами в земных краях, и солнцем, сияющим в вышине, и волной, разливающейся в глубине!

Клянусь морями бурливыми и ветрами шумливыми: это самый надежный амулет и вернее его защиты нет. Тот, кто им от угрозы ограждается, в оружье и войске не нуждается. Ты на рассвете эту

молитву прочтешь — и весь день в безопасности проведешь. А прочтешь ее перед тьмой ночной — до утра не бойся беды никакой!

Говорит рассказчик:

— Мы стали молитву повторять, чтобы в памяти удержать, и друг за другом ее твердили, пока наизусть не заучили. Наших верблюдиц теперь не погонщики погоняли, а слова молитвы, что мы от старца узнали, и охраняли наш караван не воины храбрые, а его талисман. А старец следил, чтобы мы выполняли свой долг на рассвете и на закате, и словно не помышлял о плате.

Но как только вдали Аны[86] забрезжили очертания, он потребовал обещанного воздаяния. Мы ему показали все с собой увезенное, и все потаенное и предложили дружно:

— Выбирай, что тебе из этого нужно.

Так, раскрыв наши души, словно ключом, из бедняка он стал богачом: выбрал то, что поменьше величиной, но подороже ценой. Как вор, обобрал нас этот хитрец и вдруг ускользнул, как ловкий беглец.

Разлука с другом нас огорчила, исчезновение его удивило. И заблудшего спрашивали мы о нем, и того, кто идет прямым путем. А потом нам сказали, что с минуты прихода в Ану в винной лавке кутит он неустанно. Я подумал, что это — явная клевета, но все же рискнул пойти туда, хоть прежде в таких местах не бывал, заветы веры не нарушал.

Переодетый, с прикрытым лицом, ночью в винную лавку пришел я тайком и вижу: наш друг в одеянье цветном сидит среди сосудов с вином; красавцы-юнцы вино ему подливают, яркие свечи кругом мерцают, меж сосудов цветы благоухают, флейта и лютня слух ублажают. А он то губами к сосуду прильнет, то по струнам беглой рукой проведет, то ароматы цветов вдыхает, то красавца ласкает. Увидев, что вчерашний аскет нынче бесстыж и пьян, понял я его низкий обман и воскликнул:

— Аллах тебя проклянет! Или не помнишь, как ты сидел у дамасских ворот?

А старик засмеялся, подмигнул и песню мне в ответ затянул:

Я в разные страны
Водил караваны
В пустынях песчаных

Без пищи и сна,

Скитался в морях я,
Скакал на конях я,
Бродяжил в степях я,
А цель все одна —

Не богу молиться,
А страстью упиться,
Кутить, веселиться,
Напиться вина!

Для чувств многоводья
Спустил я поводья,
Мой дом, все угодья —
Разгулью цена!

И ради стремленья
Ловить наслажденья
Испил униженья
Я чашу сполна,

Но в хитрых уловках
Добыл я сноровку:
Дурачу всех ловко
И пью допьяна!

Не будь ты жестоким,
Оставь все упреки,
Морали уроки —
Ведь правда ясна:

Вино исцеляет
И дух укрепляет,
Печаль изгоняет,
Как зиму весна.

Коль старец почтенный
Грешит откровенно —
Пусть будет блаженна
Его седина!

Влюбленный и страстный,
Ты имя прекрасной
Скрываешь напрасно —
Пусть тайна видна!

И пламя в бокале
Зажечь не пора ли,
Коль светом печали
Душа зажжена?

Тоска твоя сгинет,
Уныние минет
И горе отхлынет
За кубком вина.

Тот кубок вечерний
Серебряной черни
Нальет виночерпий
С лицом как луна.

Мелодия песни
Звенит все чудесней,
Веселия вестник
Для сердца она.

Послушай совета:
На старость не сетуй,
Целуй до рассвета
Красавца спьяна.

В безумном влеченье
Отбрось угрызенья —

Любовь к наслажденьям
Нам свыше дана.

Оплошность приметив,
Раскидывай сети —
Любому на свете
Добыча нужна!

Будь ласков с друзьями,
Осыпь их дарами,
Пусть жизнь их благами
До края полна!

Со скрягой не знайся,
До смерти не кайся,
Копить не старайся —
Ведь жадность бедна!

Я сказал:

— Прекрасны твои стихи, зато ужасны твои грехи! Ради Аллаха, скажи, какого ты роду и племени — у меня об этом гадать нет ни уменья, ни времени. Он ответил:

— Тайну свою я не хочу открывать, могу о себе лишь намеком сказать:

Узнай: я чудо всех времен,
Дивятся мне со всех сторон.
Средь мусульман и христиан
Творить я хитрости рожден.
Но я — оборванный бедняк,
Семьей большой обременен.
Я сын злосчастья и нужды,
Судьбой гоним и утеснен.
Меня ли можно упрекать,
Когда хитрить я принужден?

Говорит рассказчик:

— Тут я понял, что предо мной Абу Зейд, грешник и искуситель, благородных седин чернитель. Огорчило меня его порочное поведение, и я сказал языком презрения:

— О шейх! Позорно твое безрассудство! Не пора ли бросить такое беспутство?

Он что-то сердито проворчал, слегка призадумался, потом сказал:

— Не для попреков нам ночь дана, а для веселия и вина! Давай до утра отложим споры, тогда я послушаю твои укоры.

Я решил, что с пьяным не стоит вздорить — лучше уйти и не спорить. Не надеясь, что Абу Зейд выполнит обещание, провел я ночь, надев одежды раскаянья: видно, входить мне было не надо в обитель детища винограда! И я Аллаху пообещал стопы туда больше не направлять — хотя бы за это мне предложили халифом[87] стать! Я поклялся ни разу больше не видеть вина и как его пьют — даже если за это мне юность вернут! Затем мы пустились в путь на верблюдицах утром рано и оставили Абу Зейда в объятьях шайтана.

Перевод А. Долининой

Багдадская макама *(тринадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— В Багдаде[88] бог дал мне добрых друзей — искусных поэтов тесный кружок; на славном ристалище стихотворства никто состязаться с ними не мог.

Раз мы сидели на берегу, беседуя всласть; наша речь, словно струи Тигра[89], свободно лилась, и слов причудливо вытканный ряд благоуханием мог посрамить цветов аромат. Но к полудню источники мудрости оскудели, и тела и души на покой захотели. Вдруг мы увидели, что старуха какая-то направляется к нам бегом — словно добрый конь, не сдерживаемый седоком. А за собой тащит она толпу детей, изможденных и грязных, как будто птенцов неоперенных, слабых и несуразных. Видно, нашла она, кого искала, ибо тут же к нам подбежала и сказала:

— Да благословит Аллах благодетелей, благородных радетелей! Вы — прибежище надежд бедняков, защитники вдов и немощных стариков! Знайте, что я из знатного рода, что предки мои были первыми среди своего народа: без их приказа не ступала нога, без их повеления не тянулась рука. Но рок злосчастный близких моих погубил, печень и сердце мне на куски разрубил. Мы были высокими, а стали низкими. Были для всех любимыми — стали всем ненавистными. Покинули нас слуги, оставили нас друзья и подруги. Золото наше утекло, спокойствие прочь ушло, опустела рука наша правая, ослабела рука наша левая. Опоры семьи обрушились, стада верблюдов повывелись. Серым стал для нас мир зеленый, отвернулся

от нас динар желтый, почернели дни наши белые, побелели волосы черные, побледнело над нами небо синее, показалась смерть кроваво-красная[90].

Посмотрите на этих детей, какова их злая судьба — об этом сразу расскажут их бледность и худоба! Ложка похлебки да самая жалкая одежонка — что еще нужно голодному и оборванному ребенку? Но не могу я просить подаяния, честью своей пренебречь — клянусь, я скорее готова в могилу лечь! Однако я вижу: передо мной благородные люди; верю я, что от вас мое спасенье прибудет. Душа подсказывает мне точно: ваши руки — милостей верный источник. Пусть Аллах никогда не пошлет унижения тому, кто поможет нам в горестном положении, кто веки скупости плотно закрыл и взором щедрости нас одарил!

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Красноречием этой старухи мы были поражены, красотой оборотов восхищены. И сказали ей:

— Пленила нас твоя речь. А сумеешь ты эти жалобы в одежду стихов облечь?

Она отвечала:

— Зря не буду хвалиться, сами увидите — мои стихи из камня слезы заставят литься.

Мы обещали за стихи ее одарить и, как верные равии[91], их в памяти сохранить. Но старуха сказала, тряхнув перед нами разорванным рукавом:

— Сперва на одежду мою взгляните, а стихи вам будут потом.

Затем продекламировала:

Я слезно буду господу молиться,
Просить за нас, несчастных, заступиться.
Со всех сторон теснят нас беды злые,
Нарушив милосердия границы.
А прежде тронуть нас они не смели,
Шли мимо, отворачивая лица.
Текла рекой широкой наша слава,
Семьи знатнее не было в столице!
Когда поля от засухи скудели,
К нам люди шли голодной вереницей —

И ни один у нас не знал отказа:
Поесть давали вдоволь и налиться.
Огни горели для ночного гостя,
Не уставала щедрости десница.
Казалось, тот поток неиссякаем
Но рок велел ему остановиться:
Ведь вместо тех, кто нам служил опорой,
Нас окружили скорбные гробницы.
И мне пришлось покинуть дом высокий,
В низине, в жалкой хижине ютиться.
Верблюда нет, чтоб погрузить поклажу,
Сама должна я с ношею тащиться.
Птенцы мои в лишеньях изнывают,
Мольбы их день и ночь готовы литься.
Аллах, целитель мудрый всех изломов,
Хранитель добрый самой малой птицы!
Пошли нам в помощь доблестного мужа,
В чьем сердце нет порока ни крупицы!
Пускай нам жгучий голод он погасит
Хоть коркой хлеба да глотком водицы!
О, кто развеять сможет наше горе —
Аллах ему воздаст за то сторицей!
Клянусь владыкой праведных и грешных,
Пред кем мы в Судный день должны явиться —
Лишь ради них, детей, я к вам взываю,
Мне было б легче целый век поститься!

Говорит рассказчик:

— Клянусь Аллахом, в наших сердцах от стихов остались жгучие раны, и мы поспешно опустошили карманы. Даже тот ей помог, кто помощи сам постоянно желал, даже тот одарил, кто сам подарков всегда ожидал. Когда она вычерпала всех до дна и от звонкого золота разбухла ее мошна, пошла она прочь, детей за собой увлекая, благодарности изо рта рассыпая.

Мы смотрели ей вслед, не отрывая глаз: всем хотелось увидеть, как их деньгами старуха распорядится сейчас. Я обещал друзьям обо

всем разузнать поскорей и тут же отправился вслед за ней. А она побежала на рынок, в самую гущу людей, нырнула в толпу и мигом избавилась от злополучных детей, потом спокойно в пустую мечеть вошла и с лица завесу сняла. Я наблюдал за ней через щель дверную — подозревал, что эта старуха сыграла с нами шутку дурную. Но когда она сдвинула стыдливости покрывало, предо иной неожиданно лицо Абу Зейда предстало. Мне захотелось обманщика врасплох захватить и как следует за плутовство разбранить. А он разлегся в позе самой свободной и стал распевать беззаботно:

Ты постиг ли, мир презренный,
Мне действительную цену?
Столь искусного в обмане
Не найти во всей вселенной!
Всех, кто на пути встречался,
Я обыгрывал отменно —
В ход пускал я, как придется,
Зло с добром попеременно!
Где читая я поученья,
Где стихи слагал мгновенно.
Кто вкушал мой кислый уксус,
Кто — вино с кипящей пеной.
То я был героем — Сахром,
То Хансою вдохновенной[92].
Если б шел я, как другие,
Ровной поступью степенной,
Я бы дни влачил в лишеньях
И в печали неизменной,
Били б мимо цели стрелы
Всех моих стремлений бренных!
Стоит ли корить за это —
Вы признайтесь откровенно!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда я услышал про все его ловкие похождения и какое цветистое он придумал себе извинение, понял я, что бранить его мало

проку: шайтан, сидящий в его душе, не услышит упреков. Тут повернул я обратно к своим друзьям и рассказал им, чему был свидетелем сам. Они опечалились, что даром золото их улетело, и поклялись никогда не иметь со старухами дела!

Перевод А. Долининой

Мекканская[93] макама *(четырнадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я покинул славный Дар ас-Салам[94] и отправился в хаджж[95], как велит ислам. По воле Аллаха завершили мы все обряды и телесную сладость снова вкусить были рады[96]. А когда возвращаться наступила пора, настигла нас летняя, жара, и заставил меня беспощадный зной искать защиты над головой. Я сидел с друзьями под покровом палатки, и наша беседа текла остроумно и сладко. А жара между тем разгоралась, и в камнях раскаленных слепли от солнца хамелеоны. Вдруг перед нами оказался старик — дряхлый, еле бредущий, а рядом с ним — юноша цветущий. С тонким приветствием старик обратился к нам, словно к старым друзьям. А мы внимали и восхищались, как с ожерелья его речей жемчужины рассыпались. Но удивлялись, что он посмел свой обильный поток пролить — ведь дорогу его потоку мы еще не успели открыть. Наконец мы спросили:

— Кто ты, старик? И как ты сюда без разрешенья проник?

И ответил он:

— Я — проситель, нужда — мой гонитель, мой жалкий вид — за меня поручитель, ваша помощь — мой избавитель! А что же до моего вторжения, которое вызвало ваши сомнения, то оно не заслуживает удивления, ибо щедрость таит в себе притяжение!

Мы спросили его:

— Как сюда отыскал ты путь? Тебе указал его кто-нибудь?

Он ответил:

— У щедрости есть аромат, влекущий людей в ее благовонный сад. Указало дорогу мне ваше благоухание к сиянию вашего благодеяния, и направил стопы мои к вам добродетели вашей струящийся фимиам!

Тут мы захотели узнать, какую помощь можем ему оказать. Он сказал:

— Желанье мое сейчас вам открою, а вот у сына есть желанье другое.

Оба желания исполнить мы были готовы и к старику обратились снова:

— Ты старший — тебе и первое слово!

Он сказал:

— Это верно, клянусь Аллахом, земли и неба творцом! — Встрепенулся и стал говорить стихи, повернувшись к нам вдохновенным лицом:

Скакал мой конь во весь опор,
Но пал в пути, копыта стер.
Домой добраться — нету сил
Преодолеть пустынь простор.
Ни даника[97] в кармане нет,
Как нищете я дам отпор?!
Смятение играет мной,
И хитростей померк узор.
Пройти пешком столь долгий путь —
Вести с судьбой неравный спор.
Отстать от спутников в пути —
Принять свой смертный приговор.
Моей печали нет конца,
И слезы застилают взор.
О вы, прибежище надежд,
Несчастный длани к вам простер!
Дары текут из ваших рук
Щедрее, чем потоки с гор.
Всегда спокоен ваш сосед —
Его не ждет нужды измор.
А кто нашел у вас приют —

Не ищет уж других опор.
Кто вашей милости просил —
Не ошибался до сих пор!
О, сжальтесь, помогите мне
Вернуться вновь в родной шатер!
Изведавши мое житье —
Мой голод, жажду, мой разор,
Роптать вы стали б на судьбу,
Ей за укором слать укор.
А знали б вы мой знатный род,
И добродетели убор,
И сколько я наук постиг,
И как умом я смел и скор —
Тогда б узрели мой талант
Несчастьям всем наперекор!
О, если б был я неучен
И ум мой не был так остер!
Безжалостен мой злобный рок,
Меня обрекший на позор!

Сказали мы:

— Эти стихи нам открыли твои страданья и разъяснили твое желанье. Мы достанем тебе верблюдицу и доставим тебя домой. А что у нас сын попросит твой?

Старик приказал:

— Говори, сынок, нам не к лицу немота. Пусть Аллах не наложит печать на твои уста!

Юноша вышел вперед — будто воин ринулся в бой — и в ход пустил, словно меч, язык отточенный свой. И прочел стихи:

О вы, владетели сана,
Могучей силы султаны!
Встающие на защиту
От злобных козней шайтана!
О реки благодеяний
И милостей океаны!

Прошу я только кусочек
От жареного барана
Или похлебку с лепешкой,
Хвалить за то не устану.
А если и это много —
То лубьи[98] и баклажана.
А нет — хоть фиников горстку,
Отказываться не стану.
Чем можете — поделитесь,
Все благо, клянусь Кораном!
Нужны мне в пути припасы,
Стремлюсь я к родному клану.
Я верю, что ваша помощь
Надежнее талисмана:
Я знаю, ваши ладони
В благих дарах неустанны.
А ваши уста Аллаху
Хвалу твердят постоянно.
Желанье мое ничтожно
Для тех, кто в щедрости рьяны.
Награду за милость вашу
Получите без обмана:
Стихи, звучащие звонче
Касыд[99] любого дивана[100]!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— И когда он закончил эти слова, поняли мы, что львенок не хуже льва. Тогда отца на верблюдицу мы посадили, а сына запасами снабдили. За эти дары нас они восхвалили еще, в хвала тянулась за нами длинным плащом. Когда же они решили отправиться в путь и пояса для пути затянуть, я спросил старика:

— Ну как, не скажешь, что это — обещанье лжеца Уркуба[101]? И есть ли еще желанье в душе у Якуба[102]?

Он сказал:

— Упаси Аллах, прекрасны ваши благодеяния, унесли мое горе славные ваши даяния.

Я возразил:

— Тогда и ты отплати нам добром — нет, не золотом, не серебром, а скажи, где твой город, ведь мы в смущении относительно вашего происхождения. В ответ мы услышали вздохи его и стенанья, и потом он стал говорить стихи, пытаясь сдержать рыданья:

Серудж — мой город родимый,
Далекий, недостижимый.
Враги его захватили,
И зло их непоправимо.
Клянусь я Каабой[103] священной,
Чья правда неодолима:
С тех пор, как Серудж покинул,
Горюю неутолимо!

Тут глаза его набухла слезами, потом против воли слезы из глаз покатились сами: старик не хотел их проливать, да, видно, не мог сдержать. Продолжать свои речи стало ему невмочь, попрощался он коротко, и оба поехали прочь.

Перевод А. Долининой

Законоведная макама *(пятнадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Однажды бессонница на меня напала, в сети свои поймала. Ночь была в черной рубахе из туч, сквозь нее не просвечивал лунный луч. И был я в ту ночь мрачней, чем любовник у запертых дверей. В сердце моем были тоска и смятение, в мыслях — заботы и волнения, и, томясь в мучениях, я пожелал, чтоб Аллах собеседника славного мне послал, который мог бы приятной беседой помочь скоротать эту долгую черную ночь.

Едва я высказал свое желание, как Аллах оказал мне благодеяние: кто-то в дверь ко мне постучал и хриплым голосом хозяев позвал. Я сказал себе: «Посмотри, семя желания уже принесло свой плод, и он, словно месяц, осветил ночной небосвод». К двери я подошел тотчас, спросил:

— Кто стучится в столь поздний час?

И услышал:

— Путник, мраком ночным уловленный, дождем проливным остановленный, просит приюта до рассвета лишь отдохнуть, а когда рассветет — опять отправится в путь.

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Первый луч его красноречия предсказывал яркое сияние — как заглавие книги намекает на тайну ее содержания. Понял я, что ночной приход его — благо, а беседа с ним — сладостная влага. Всколыхнулась радость в моей груди, я открыл и сказал:

— Мир тебе, путник! Входи!

И вошел ко мне старец, согбенный времени тяжкою ношей, в одежде, насквозь промокшей, но его приветствие аромата было полно, словно старое терпкое вино. Он поблагодарил меня, потом извинился, что не вовремя в дом явился. Я приблизил к нему светильник зажженный и окинул взглядом настороженным. Нет, меня не обманывало зрение: это был сам шейх Абу Зейд, без сомнения! И в его появлении было желаний моих исполнение. От побоев печали, от слез к ласкам радости и к улыбкам он меня перенес. Дорогого гостя усадил я на место почетное. «Откуда? Какими судьбами?» — потекли расспросы бессчетные. Но старик сказал:

— Дай мне сначала передохнуть, ведь меня изнурил долгий и трудный путь.

Я решил, что голод его истомил и отвечать на вопросы у него нету сил. Подал я ему все, что можно подать гостю ночному, нежданному, но желанному. Однако он отвернулся, словно был сыт до отвала или словно застенчивость ему мешала. Меня рассердил и обидел его отказ — ведь раньше он принимал мое угощенье не раз! Кипятком поношения я готов был его ошпарить и ядом упреков ужалить. Но успел он прочесть в моих глазах, что вот-вот появится у меня на устах, и сказал:

— О ты, исполненный недоверия к тем, чья любовь давно уж проверена! Мысли дурные со стыдом отгони и свой слух к моему рассказу склони!

Я ответил:

— О ты, мастер выдумок и прикрас! Подавай поскорее свой рассказ!

Он сказал:

— Вчерашнюю ночь, измучившись от дорог, провел я наперсником бедности и другом тревог, а когда темнота завершила свой жизненный путь, и звезды в утреннем свете стали тонуть, и озарились края земли, ноги сами на рынок меня повлекли. Стал я искать удобной добычи или дозволенной дичи. И вот прекрасных фиников гроздь увидел я у торговца: они зарумянились на летнем солнце, сквозь прозрачную кожицу сок проступал, краснотой сердолика отливал. Шафранного цвета сливки сияли от фиников справа — словно для сердолика золотая оправа. Того, кто их приготовил, они восхваляли языком своего совершенства, а тому, кто

вкусит их, они обещали блаженство. Ничего не жалко за них отдать — хоть от сердца кусок оторвать.

Желание насладиться взяло надо мною власть, своими канатами меня опутала страсть. И стал я растерянным, точно влюбленный, как ящерица пойманная, смущенный. Тщетно искал я средства беде помочь, но с места сдвинуться мне было невмочь. Горел я в огне, не зная, как страсть погасить и желанных плодов вкусить. Голод во мне закипел ключом и стал подгонять меня жестоким бичом — хоть всю землю из края в край обойти, а к источнику этому дорогу найти.

Так прошел целый день: опускать ведро свое в каждую реку мне было не лень, но сухим все время оно возвращалось, утолить свою жажду никак мне не удавалось! Солнце к закату свой путь клонило, иссякли в душе моей силы. Бросить поиски и уйти я давно уже был бы рад, да одна нога тянула меня вперед, другая — назад.

Вдруг некий старец мне попался навстречу: вздыхал он и плакал, словно горе ему тяготило плечи. Признаюсь, жестокие волчьи мучения не убили во мне стремления к развлечению: преградить бы этому старцу путь и как следует его обмануть! И сказал я ему:

— О плачущий, открой мне причину вздохов и слез твоих, если хочешь, чтобы пожар твой затих, ибо найдешь во мне лекаря помогающего и помощника утешающего!

Он ответил:

— Клянусь Аллахом, плачу я не по жизни погибшей и не от беды, меня поразившей, — я горюю о том, что науки нынче в постыдном упадке очутились, что их солнца и луны закатились!

Я спросил:

— Что же вызвало твои затруднения, возбудило о прошлом сожаления?

В ответ он вынул из рукава какую-то грамоту старинную с буквами еле видными и отцом и матерью при этом поклялся, что к ученым ученейшим он во всех медресе[104] обращался, но никто не сумел эту грамоту прочитать, никто ничего не смог разобрать. Все владыки каламов[105] и чернил были немы, как жители могил.

Я предложил ему:

— Дай-ка, займусь я грамотою твоею — быть может, помочь тебе сумею.

Он ответил:

— Попробуй, да ведь не хватит уменья — или надеешься на везенье? Правда, порою меткость не помогает, а стрела шальная в цель попадает.

Тут он мне грамоту в руки дал, и такие стихи я в ней прочитал:

О преславный факих[106], мудрецов украшенье,
Знаний прочный оплот в наук утешенье!
Разреши хитроумный вопрос о наследстве,
Всех факихов и судей повергший в смущенье!
Умер некто и брата родного оставил
(Мусульманин свободный он был по рожденью)
И оставил жену, у которой имелся
Тоже брат; их родство не внушает сомненья.
Получила вдова свою долю наследства,
Ее брату остаток пошел во владенье,
А покойного брат без наследства остался,
Но законным явилось такое решенье!
Исцели нас ответом на эту задачу:
Как возможно подобное постановленье?

Едва я успел на эти стихи взглянуть, как стала ясна для меня их тайная суть. Я сказал:

— Тебе повезло — в селении фикха[107] я старожил и славу лучшего знатока законов недаром я заслужил. Но от голода все пылает внутри у меня, и без хорошего ужина не погасить огня. Если сумеешь меня как следует накормить, я постараюсь твою задачу решить.

Старик ответил:

— Твои намерения не кажутся мне неверными, а притязания — чрезмерными. Так пойдем же со мною к скромному моему водопою. То, что ты хочешь, там получишь, а потом к обещанному толкованью приступишь.

Говорит Абу Зейд:

— И вот я отправился к этому старцу в дом — так судил Аллах своим справедливым судом. И было жилье его уже, чем гроб, темней, чем теснина, и так же непрочно, как паутина. Однако понадеялся я, что

широта натуры искупит узость его жилья: все, что мне нужно, он обещал раздобыть и угощенье любое на рынке купить.

Я сказал:

— Ты добудешь мне всадника распрекрасного на седле самом сладостном и того, кто самым полезным другом считается, но с самым вредным спутником знается.

Над моими словами долго он размышлял и наконец сказал:

— Полагаю, что сына пальмы ты подразумеваешь и пищу ягненка к нему добавляешь.

Я воскликнул:

— Эту роскошную еду я и имел в виду!

Тут он поднялся живо, потом снова сел и сказал ворчливо:

— Знай — да поможет тебе Аллах, — что правда — свет благородства во всех делах, а ложь — недуг, повергающий лгущего в прах. Пусть голод — одежда пророков и святых украшенье — тебя не заставит ступить на путь прегрешенья, присоединиться к мерзким лжецам, забыв о том, чему учит чистый ислам. Благородная женщина будет от голода умирать, но молоко из своей груди не станет сосать[108] и честь свою ни за что не согласится продать. Бесчестную сделку я с тобой заключать не стану и никогда не прощу обмана. Хочу я тебя предостеречь, прежде чем обнажится позор и злоба, сгустившись, расторгнет наш договор. Предупреждением пренебречь не пытайся — остерегайся, остерегайся!

Я сказал:

— Клянусь тем, кто пропитание от лихвы запретил, а вкушение фиников разрешил, ни слова фальшивого нет и моем уверении и я не хочу ввести тебя в заблуждение, а последствия щедрости своей узнав, ты сам убедишься, насколько я прав.

Радость его велика была: он пустился на рынок, как из лука стрела, и вернулся в мгновение ока, под тяжестью ноши двойной согнувшись глубоко. Передо мной он поставил еду, как благодетель, от меня отвративший беду, и сказал:

— Надо войско войском побить[109], если хочешь сладость жизни вкусить!

Я засучил рукава, собираясь насытиться сполна, и взвалил на себя труд прожорливого слона, а старик смотрел на меня и злился, явно желая, чтоб я подавился. И вот я закончил свои труды, оставив от

пиршества жалкие лишь следы. Стал я раздумывать, как написать на стихи ответ и оставит хозяин меня ночевать или нет. А старец проворно вскочил, калам и чернильницу притащил и сказал:

— Свой мешок ты наполнил достаточным наполнением, так не мешкай с ответом и решением! А если тщетными будут твои попытки, то готовься за все, что съел, возместить убытки.

Я возразил ему:

— Я не отказываюсь от обещанья. Записывай же ответ, пусть Аллах увенчает успехом мое старанье:

Передайте тому, кто, гордыней объятый,
Эту тайну от нас так старательно прятал:
Острый ум до нее без труда доберется
И составит ответ, поученьем богатый.
Человек, чье имущество вызвало споры,
Мать жены своей старшему сыну сосватал.
Умер сын, но от брака ребенок остался;
Посмотри, чем его положенье чревато:
Он покойному явно приходится внуком,
Но вдове по закону приходится братом;
А у внука ведь более прав на наследство,
Чем у брата покойного, — правило свято!
Значит, брату лишь слезы на долю достались —
Пусть горюет и плачет, сраженный утратой!
Вот решенье для тех, кто терялся в догадках, —
За него заслужил я полученной платы!

Говорит Абу Зейд:

— Когда я ответ продиктовал и подтверждения правильности его пожелал, старик вдруг сказал:

— Ступай поскорее прочь, а не то тебя застигнет ночь. Поспеши к семье своей, подбери подол, пока дождь проливной не пошел.

Возразил я старцу:

— Я чужеземец, куда же мне путь держать? Ведь меня приютить — значит милость Аллаха снискать. Посмотри, уже тьма свой покров опускает и в тучах, славя Аллаха, гром громыхает[110].

А старик все твердил угрюмо:

— Уходи куда хочешь, о ночевке здесь и не думай!

Я спросил его:

— Почему? Ведь хватит места в твоем дому.

Ответил старик:

— Я видал, как ты на еду нападал, ничего не оставил, не пощадил, как только хватило сил! Но ведь здоровье надо беречь и пользой нельзя пренебречь. А кто, подобно тебе, на еду налегает чрезмерно, тому очень скоро приходится скверно от полного помраченья рассудка и мучительного несваренья желудка. Ради Аллаха, поскорее покинь мой кров и выйди, пока ты здоров! Клянусь тем, кто повелел ночи сменяться днем, — нет для тебя ночлега в доме моем!

Когда я услышал эту клятву и уловил его настроение, я ушел, и было ношей моей огорчение. Небо щедро меня поливало, темнота с дороги сбивала, собаки лаяли на меня и ворчали, а чужие двери меня друг к другу швыряли, пока наконец судьба своей белой рукой не даровала мне ночлег у тебя и покой.

Говорит рассказчик:

— Я сказал: «Сколь радостна сердцу эта встреча с тобой, предсказанная судьбой!» Затем он повел свои рассказы искусные, смешивал в них смешное и грустное, пока утро не стало глаза свои протирать и мы услышали, как муэдзин к блаженству стал призывать[111]. И вот Лбу Зейд уже готов откликнуться на благочестия зов. Я его уговаривал провести у меня три для гостя положенных дня. Но он оставаться ни за что не хотел и, уходя, такие стихи пропел:

Новолунью подобный на небе ночном,
В месяц раз прихожу я к любимому в дом,
И не чаще — зачем же друзей утруждать?
Надоесть, примелькаться — что радости в том?!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Попрощался я с Абу Зейдом, а в сердце моем остались кровавые раны. О, если бы утро нас не застигло так рано!

Перевод А. Долининой

Синджарская макама *(восемнадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Из Дамаска однажды я возвращался, с караваном племени бану нумейр в Багдад направлялся. В караване были люди богатые и не скупые — тороватые. Был там и Абу Зейд — нашего времени диво: он всякого говорливого сделает молчаливым, тоскливого заставит смеяться, а торопливого — задержаться. В Синджаре[112] устроили мы привал, а в этот день один купец всех на пир сзывал: высокого и низкого, далекого и близкого, молодого и старика, богатого и бедняка, оседлого и бедуина, знатного и простолюдина. Получили и мы приглашение на это роскошное угощение и, чтобы хозяина не обижать, пришли и сели, приготовившись пировать.

Были там яства, что берутся одной рукой[113], и те, что не съешь без участья руки другой[114]. Кушанья глаз красотою ласкали и вкусом своим язык ублажали. Потом принесли нам стеклянные чаши, красивей которых нету: подобны они застывшему лунному свету, или словно из воздуха их отлили, из тончайшей солнечной пыли. Напитков полны они ароматных, на вид приятных, словно влага на райских источников благодатных.

Тут у гостей разгорелись страсти и все своей подчинили власти: даже самый скромный человек был готов совершить на сласти разбойный набег. Вдруг вскочил Абу Зейд, как одержимый, отвращением прочь от стола гонимый. Все закричали:

— Садись на место, смутьян! Не будь Кударом среди самудян[115].

Вскричал Абу Зейд:

— Тем, кто мертвецов из могил поднимает[116], клянусь: пока не уберут эти чаши стеклянные, я на место свое не вернусь…

Чтобы клятвы своей Абу Зейд не нарушил, и компанию не разрушил, распорядились хозяева наши убрать эти чаши. Но мы все время о них вздыхали и вздохи слезами сопровождали. Когда Абу Зейд смог вернуться на место, клятвы не нарушая и запретного не свершая, мы спросили, что на мысль его навело убрать из застолья все стекло.

Он ответил:

— Обо всем, что в нем, доносит оно, а я дал клятву давным-давно сплетников и доносчиков сторониться, с ними рядом не находиться.

Обратились мы к Абу Зейду снова:

— Скажи, где исток этой клятвы суровой?

И он причину нам разъяснил:

— Один сосед со мной рядом жил. На словах был любезен и мягок он, но таился в сердце его скорпион. Была его речь, словно мед, следка, а душа его, словно яд, горька. Ведь нередко бывает: на отбросах густая трава вырастает, а что под нею — никто не знает. И с этим соседом я часто вступал в беседу. Он приятно мне улыбался, и я, как с приятелем, с ним общался. Он лучшим другом меня называл, и я, как с другом, с ним пировал. Я ему душу открывал, а он обманом меня обвивал. Я как соседу ему угождал, а он, словно коршун, моей оплошности ждал. Я смотрел на него ласковым взглядом, а он, как змея, был полон яда. Я был рад с ним хлеб и соль разделить и чашу ему до краев налить — и не знал, что покажет мне испытанье: он из тех, с кем не горько навек расставанье!

Невольница у меня была — красотою всех она превзошла! Когда приоткроет лицо она, стыдятся и солнце и луна! И сердца огнем зажигаются, а умы затмеваются. Когда же она улыбается, то у жемчуга блеск теряется! Не идут в сравнение и кораллы — таи ее губы алы! Только взглянет — любовь возбуждает страстную, словно ей вавилонское колдовство подвластно[117]. Если она заговорит, то мудрец все помыслы к ней устремит, а серны спешат в долину спуститься, чтоб нежными звуками насладиться. Коран она нараспев читает — словно Дауд[118] на свирели играет, боль сердечную утоляет, заживо погребенных из могил вызволяет. Запоет — сам Маабед[119] ученик перед ней, а Исхака Мосульца[120] не пустят дальше дверей. Когда же она приложит свирель к губам, то рядом с ней от стыда сгорит и

Зунам[121], чье искусство давно уж известно нам. А кому посмотреть на танец ее дано, тот забудет, как в чашах танцует, пенясь, вино. Каждым движеньем она пленяет — от восторга тюрбан с головы слетает! Я о стаде своем забывал — лишь общение с ней богатством своим считал; сглаза боясь, от луны и от солнца ее скрывал; на веселой пирушке о ней молчал. Даже боялся, что ветер ее коснется — и часть аромата ее с ним унесется, что слово о ней предсказатель скажет или молния красоту ее людям покажет.

Но так захотела звезда моя неудачливая и пожелала судьба незадачливая, чтоб однажды хмель мне язык развязал и соседу-сплетнику я о ней рассказал. Скоро я протрезвел, спохватился… Увы! Успела стрела соскользнуть с тетивы. И стал я ругать себя за то, что лил тайну в дырявое решето. Но потом я с соседом договорился, чтобы рассказ мой в секрете хранился, чтоб о нем никому он не говорил, даже если бы я его чем-нибудь прогневил. Сосед меня клятвенно заверял, что чужие тайны он всегда сохранял, как купец — свой товар, как скупец — динар, и что мне от него ничего не грозит: он пойдет в огонь, а о тайне смолчит. Но лишь день прошел или, может быть, два, как представился случай проверить его слова: правитель нашего города к эмиру решил направиться — захотелось ему эмиру понравиться; войском своим перед эмиром он пожелал похвалиться и заставить награды дождем пролиться. И подарок достойный эмиру он решил поднести, чтобы милость двойную обрести. Большие блага обещал он тому, кто найдет такой подарок ему.

И сосед мой не устоял — в предвкушенье подачек низко пал, прикрывшись одеждами порока, чтоб его не кололи стрелы упрека. Он в уши правителю нашептал то, что от меня по секрету узнал. И вот поток мне стал угрожать, готовый меня, непокорного, сиять: слуги правителя приходили и речь о том со мной заводили, что жемчужину надо другому отдать, а цену можно любую взять. Горе великое меня затопило, точно море, что фараоново войско залило[122]. С потоком пробовал я бороться, но пред мощью такой кому устоять удается?.. Просил я милости у правителя, но тщетными были мольбы просителя: когда я перед ним представал и просьбу свою изложить желал, как на преступника, на меня он смотрел и от гнева даже зубами скрипел. Но ведь и мне с этой полной луной расстаться все равно что без сердца остаться!..

В конце концов я был побежден — и страхом гибели побужден зеницу ока другому отдать и звоном монет себя утешать. А доносчик ни даника не получил, лишь презренье всеобщее заслужил. Я же Аллаху поклялся, что впредь не буду с доносчиками дела иметь. А стекло, посмотрите, как будто нарочно, обладает этим свойством порочным: недаром в пословицу вошло прозрачно-обманчивое стекло. Клятва, данная мною, навеки крепка: к стеклу не притронется моя рука!

Не упрекайте: я вам объяснил,
Из-за чего вас шербета лишил.
Я красноречием все возмещаю:
Старым и новым прорехи латаю —
Словом узорным, что взял я от предков,
Речью своей, благозвучной и меткой.
Умный поймет и не будет суровым:
Слаще халвы остроумное слово!

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Абу Зейда мы оправдали, в щеку его поцеловали и так ему сказали:

— Лучшего из людей сплетница тоже терзала: корейшитам тайны его разглашала[123]…

Потом мы Абу Зейда спросили:

— А что делал твой коварный сосед, причинив тебе столько горя и бед, тот, что стрелу доноса посмел в тебя запустить — и дружбы вашей обрезал нить?

— Этот подлый стал унижаться, к влиятельным лицам за помощью обращаться — чрез них у меня прощенья просить, умоляя его простить. Но я запретил себе мягким быть: мне с этим низким вновь дружбы не вить — незачем в день вчерашний плыть. И мольбы его всякий раз встречали твердый мой отказ, который сплетника не удручал: наглец улыбкой отказ встречал и по-прежнему просьбы свои расточал. Но нашел я средство от приставаний, для усмиренья его желаний — стихи, печали моей выраженье и сердечной горести отраженье. Пусть они шайтана его укротят, домогательства сплетника

от меня отдалят! Когда до соседа мой стих докатился, навеки он с радостью распростился: он ударил себя рукой сожаления и больше не ждал от меня прощения, как неверный в могиле не ждет воскрешения.

Мы пожелали услышать, как эти стихи звучат, чтобы вдохнуть их аромат. Абу Зейд сказал:

— Так и быть, прочту вам стихотворение — ведь сотканы люди из нетерпения…

И стал декламировать без тени смущения, без всякой робости или волнения:

Был сосед у меня, я с ним дружбу водил,
О любви он своей постоянно твердил.
Мнилось мне, что был другом он верным —
Оказался гниющею скверной.
И когда об измене его я узнал,
Ненавистную дружбу я тут же порвал:
Он нанес мне удар вероломно —
Наш разрыв стал, как пропасть, огромным.
Я считал, что опора он в жизни моей,
А он предал меня, как бездушный злодей;
Кто приятелем был мне желанным,
Обернулся врагом окаянным.
Я, отравленный ядом его, умирал,
Позабыв обо мне, безмятежно он спал.
Я считал его нежным насимом[124] —
Злым самумом[125] он стал нестерпимым.
Он остался здоровым, прямым, как стрела,
А меня лихорадка от горя сожгла.
Был не братом он, благости полным,
А врагом, беспощадным и злобным.
Я коварство его до конца испытал:
Лучше б в жизни его никогда не встречал!
Стал зарю я теперь ненавидеть:
Мне противно все ясное видеть.
Я теперь полюбил мрак суровый ночной —
Не откроет он тайны врагу ни одной!
Другу темень ночная подобна —

На измену она не способна.
Грех великий доносчик и сплетник творит,
Даже если он правду тебе говорит.

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда хозяин выслушал и обличенье и восхваленье, от стихов и от саджа получив наслажденье, усадил он Абу Зейда на почетное место, где ему по чести сидеть уместно. Потом приказал расставить повсюду серебряную посуду, полную всякого рода сластей, для ублажения гостей. И сказал:

— Не равны обитатель рая и тот, кто в адском огне сгорает, не равны кто вины за собой не знает и тот, кто проступок совершает. Невинна серебряная посуда, ибо тайну хранить умеют эти сосуды. Ты их из застолья не изгоняй и к адитам Худа[126] не причисляй…

Тут слугам велел он поднять сосуды для обозрения, чтобы высказал гость свое одобрение. Абу Зейд сказал нам:

— Прочтем же суру «Победа»! Спасибо Аллаху, что позволил сластей отведать, залечил наши раны, отвел беду, сделал приятной нашу еду и полюбоваться дал серебром. Бывает, то, что считаешь злом, оборачивается добром…

Когда собрался Абу Зейд уходить, захотелось ему серебро как подарок с собой прихватить. Сказал он хозяину:

— Кто любезным слывет, тот, насытив гостей, и посуду им раздает…

Хозяин ответил:

— И посуду с собой забирай, речи кончай и с миром ступай.

Услышав ответ, Абу Зейд вскочил и хозяина радостно благодарил, как щедрую реку сад восхваляет, когда она дождем его поливает. Потом нас в палатку свою он призвал, вкусной едой угощал и сосуды дареные раздавал. Затем он сказал:

— Я не знаю после такого обеда, роптать мне на сплетника-соседа или его благодарить, помнить о зле или забыть. Хоть он и много вреда мне принес тем, что о тайне моей донес, но из черной тучи щедрый ливень пролился — донос в добычу мою превратился. Этим я удовлетворюсь, к львятам своим вернусь. И не буду утруждать ни себя,

ни верблюда. Я покину вас, в сердце любовь тая. Да хранят вас Аллах и молитва моя!

Тут на верблюдицу он взгромоздился и в обратный путь устремился — к тем, кто давно по нему томился. Без него мы словно осиротели и долго вослед ему глядели. Но верблюдица крепкая ходу прибавила — и нас одних тосковать оставила. Ночь сразу стала темным-темна: за холм закатилась наша луна.

Перевод В. Борисова

Насибинская макама *(девятнадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Был в Ираке засушливый год: ветер дует, а туч не несет. Но странники говорили, что в Насибине[127] житье привольное — земля плодородна, а люди жизнью довольны. И вот оседлал я верблюда махрийского[128], к седлу приторочил копье самхарийское[129]. То в гору, то вниз с горы крутой, земли сменялись одна за другой. И вот в Насибине я — всадник усталый на верблюжьем горбу исхудалом. Насибинскою жизнью я наслаждался, а верблюд мой сочной травою питался. И решил я остаться в этом краю, пока дождь не напоит землю мою.

Не успели глаза мои ополоснуться сном, не успела ночь разрешиться от бремени днем, гляжу: Абу Зейд по городу бродит, без цели как будто, а пользу находит — из уст он сыплет жемчужины слов и выдаивает щедрые струи даров. За труды мне судьба добычу послала, одинокой стреле двойника сыскала! И стал я как тень за ним ходить, на лету слова Абу Зейда ловить. Но вдруг на него лихорадка напала, на костях его мяса оставила мало, затянулась болезнь, унесла все силы и наше общение прекратила. Я не знал, куда от тоски мне деться, плакал я, как без матери плачет младенец. Тут слух прошел, что звезда его закатилась, когти гибели в тело его вцепились. Этот слух опечалил многих людей и привел к его дому добрых друзей:

В смущенье потупясь, печали полны,
От боли качаются, будто пьяны,

Льют ведрами слезы и волосы рвут,
Царапины горя на лицах видны.
Готовы и жизнь и богатство отдать
За друга, которому сердцем верны.

Говорит рассказчик:

— Горем охваченный, в толпе друзей я долго стоял у знакомых дверей, ожидая хороших ли, дурных ли вестей. Наша надежда казалась зыбкой, но сын Абу Зейда к нам вышел с улыбкой. И мы обступили его с расспросами, о друге своем забросали вопросами. Он сказал:

— Положение тяжким было, сильно его лихорадка била, здоровье она истощила вконец, на краю гибели был мой отец. Но теперь он очнулся, и силы его укрепил Аллах — возвращайтесь домой и отбросьте страх: вот-вот он встанет, начнет ходить и снова вином вас будет поить.

Можно ли радость друзей описать? Абу Зейда все хотят повидать! Сын вошел к отцу спросить для нас позволения и скоро вышел к нам с разрешением. Смотрим: хворь Абу Зейда иссушила, но красноречия не лишила — мы расселись, с него не спускаем глаз, а он говорит, бросив взор на нас:

— Вот что я сочинил сейчас:

Слава Аллаху — целителю,
Трепетных тварей хранителю!
Спас он меня, но когда-нибудь
Сдамся я року-губителю.
Рок мне отсрочку пожаловал,
Чтоб угодить Повелителю,
Но не под силу спасти меня
Даже вождю-покровителю[130],
Если придет мой последний час,
Ведомый судеб вершителю.
Близок, далек он — не все ль равно:
Счастья земному нет жителю —
Тяжкие беды влекут его

К смерти — надежды крушителю.

Говорит рассказчик:

— Пожелав, чтобы дни Абу Зейда продлились, а страх и болезни отдалились, решили мы встать, боясь его утомлять, но он сказал:

— Оставайтесь, пока светло, — от приятных слов на душе тепло. Беседа с вами меня исцелит, голод души моей утолит и радость притянет, словно магнит.

Мы перечить ему не стали, из сливок беседы долго масло сбивали, пока языки у нас не устали. Знойный день созрел, истомила жара, на полуденный отдых всем пора. Сказал Абу Зейд:

— Вижу, сон вам шеи склонил и глаза соблазнил. Он — могучий враг, побеждающий сразу, и жених, который не встретит отказа. Сам пророк нам в полдень велит отдыхать и шайтану не подражать[131].

Говорит рассказчик:

— Мы ослушаться слов его не могли: Абу Зейд улегся — и мы легли. И Аллах ударил нас по ушам и послал дремоту нашим глазам. Вышли мы из-под власти бытия земного, и попали мы в руки сна дневного. Проснулись, смотрим: жары уж нет, потускнел и состарился солнечный свет. Омовение мы поскорей совершили, оба долга сполна уплатили[132] и по домам разойтись решили.

А сын Абу Зейда — рядом с отцом (так похож — как будто одно лицо). Отец говорит ему:

— На гостей, сынок, посмотри: ведь угли голода их жгут изнутри. Вокруг «отца собрания»[133] ты их собери — двери радости голодному отвори. Предложи им отведать «сына теста»[134], румяного, как невеста. А «сыну теста» пошли в подкрепленье «разумного едока наслажденье» — козленка, зажаренного на углях, желанного гостя на всех пирах. А за ним пусть появится «отец вкуса» — острый и ароматный уксус. Пригласить и «помощницу трапезы» надо — без соли есть ли в пище отрада? И добудь — не забудь — «мастериц приправы» — зелень и пахучие травы. Подай сикбадж[135] — «господина пиров», — такого не пробовал сам Хосров[136]! А затем и харису[137] — «утеху стола», — чтоб беседа застольная веселее текла! И тащи джаузаб[138] — «госпожу наслажденья», — нападайте, друзья,

на нее без стесненья! На закуску — хабис[139], «покой желудка», — он печаль разгоняет, как хорошая шутка. А к нему фалузадж[140], «угощенья венец», — кто посмеет сказать, что ты скупец? Но таз и кувшин подавать не спеши — пусть гости полакомятся от души! А когда все устанут и насытятся угощением и руку пожмут «отцу омовения»[141], пусть собрание обойдет «отец аромата»[142] — как у людей благородных, богатых.

Сын-ловкач все намеки отца уловил: он прекрасными яствами нас обносил и благовония вкруг нас курил. Вот стало солнце домой собираться, мы тоже подумали: пора прощаться, но решили вопрос Абу Зейду задать:

— Скажи, приходилось тебе видать, чтобы день начинался черным рассветом, а ночь озарялась радости светом?

Абу Зейд поклонился и не медлил с ответом:

Не горюй, что к тебе столь безжалостен рок:
Схлынет горе — настанет веселия срок.
Сколько раз ты видал: чуть подует самум[143],
А его уж сменяет насим[144]-ветерок.
Замечал ты, как туча уносится прочь,
Чтобы яростный ливень пролиться не мог,
И как тает несчастия дым без следа,
Словно пламя его поглощает песок.
Если вдруг загорится печали звезда,
Не кручинься — закат уж ее недалек.
Будешь страхом застигнут — крепись и терпи,
Знай, что время — могучий целитель тревог,
И несчетных, несметных даров ожидай,
Принимай их спокойно — ведь милостив бог!

Мы стихи его записали, Аллаху всевышнему хвалу воздали и простились, радуясь его исцелению, до краев наполненные его угощением.

Перевод А. Долининой

Мейяфарикинская макама *(двадцатая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Однажды пустился я в путь неблизкий — в Мейяфарикин[145], город сирийский. Были со мною друзья мои верные, советчики не лицемерные, не спорщики в пустом разговоре, а те, кто делят с тобой и радость и горе, ничего в потемках души не таящие, товарищи настоящие — с ними ты точно в доме родном с матерью и с отцом. Когда мы верблюдов остановили и движенье отдыхом заменили, обещали верность друг другу хранить и на чужбине надежной опорой быть. Определили мы место сбора для ежедневного разговора, чтобы утром и вечером нам сходиться и новостями делиться. Вот как-то раз в нашем собранье привычном появился гость необычный: в речах своих был он смел, громко приветствовал нас, а голос его звенел, словно владел он чарами колдунов или вышел охотиться на львов. После приветствия он сказал:

Внемлите мне, ведь поученье это
Достойно вдохновения поэта.
Когда был молод, я знавал героя,
Пред кем смолкали всех врагов наветы.
Каким бывал он твердым в наступленье —
Шел не колеблясь и не звал запрета!
И, нападая, пробивая бреши,
Всю ночь он мог сражаться до рассвета!
Сдавались все противники, окрасив

Его копье кроваво-красным цветом.
Он брался одолеть любую крепость
С глухой стеной без малого просвета,
На приступ храбро шел — и не бывало,
Чтоб он хоть раз не выполнил обета.
Ах, сколько он провел ночей прекрасных,
Плащом веселой юности одетый!
Ласкал красавиц, и они ласкали,
Его любовной щедростью согреты.
Но год за годом сила иссякала,
И появились старости приметы:
Он жалким стал, совсем не мог подняться,
Друзья его рассеялись по свету,
С красавицами он давно расстался,
Не звал их и от них не ждал ответа.
Не помогли больному заклинанья,
Бессильны были всех врачей секреты.
Судьба сурова — не дает пощады,
Разит и жизнелюбца и аскета.
Лежит мертвец, одеждою прикрытый,
И даже савана бедняге нету!

Кончив, он зарыдал неукротимо — так горюет любящий о любимом. Когда же слезы перестали литься из его глаз и котел его горя погас, он сказал:

— О щедрости высшие образцы, для просителей милостивые отцы! Клянусь Аллахом, я не солгал, рассказал лишь то, что своими глазами видал. Если бы ветвь моя не увяла, если б туча моя хоть каплю дождя давала, я бы знал, как мне следует поступить, никого бы не стал просить. Но как взлетишь, если крыльев тебе не дано! О Аллах! Неужели быть неимущим грешно?!

Говорит рассказчик:

— И стали люди тихонько меж собой говорить — советоваться, как поступить, и шептаться, на что им решаться. Он подумал, что мы не желаем брать на себя никаких обязательств или потребуем у него доказательств, и сказал нам:

— О миражи, обманно манящие, о каменья, лживо блестящие! Откуда эти сомнения без стыда и стеснения? Словно хочу я от вас золота целый мешок, а не ткани жалкий кусок! Словно прошу покрывалом Каабу[146] покрыть, а не саван — покойника похоронить! Позор тому, чьи руки будут сухими[147], а скалы останутся нагими!

Роса красноречия была на его устах и привкус горечи — и его пространных речах. Уделил ему каждый сколько мог — от своей бедности жалкий клок, боясь, что после росы его красноречие ливнем польется и тогда уж нам плохо придется.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Этот проситель стоял позади, за мною, скрываясь от глаз моих за моею спиною. Друзья отвалили ему подарков полную меру, и я захотел последовать их примеру: снял перстень с руки, обернулся, на просителя оглянулся и глазам своим поверил с трудом: это был серуджиец, что давно мне знаком. Догадался я, что его рассказ полон лживых прикрас, что силки он искусно раскинул для нас. Но я не стал его выдавать, пред всеми пороки его обнажать, бросил перстень ему — мое приношенье — и сказал:

— Это плакальщицам на угощенье!

Он воскликнул:

— Аллах да пребудет с нами! Пусть не погаснет твоего благородства пламя!

Потом, как обычно, прощаясь, заторопился и прочь напрямик пустился. А мне захотелось узнать наконец, что у него за мертвец. Разжег я поспешности огонь и пустился бежать, как резвый конь. Пробежал я сколько летит стрела[148], и добыча от меня не ушла: Абу Зейда мне удалось найти и, ухватив за одежду, удержать его на пути.

Я сказал:

— Клянусь Аллахом, от меня не найдешь защиты, пока не покажешь, где твой мертвец, одеждой прикрытый.

— Взгляни! — спокойно сказал греховодник старый и приспустил свои шаровары. Я воскликнул:

— Погубит тебя Аллах, бесстыдный злодей! Как ты смел обмануть достойных людей?

И побрел я к друзьям обратно, как разведчик, добывший весть неприятную. Рассказал им честно все, что узнал, не приукрашивал и

не скрывал. А друзья мои долго хохотали и злосчастного мертвеца проклинали.

Перевод А. Долининой

Рейская макама
(двадцать первая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда научился я добро отличать от зла и понимать, какие последствия влекут за собою мои дела, к слушанью проповедей я пристрастился и от речей дурных отвратился, чтоб узорами добродетели разукрасить свои деяния и зашить прореху порока на их одеянии. Душе своей путь я наметил правый, погасил в ней уголь дурного нрава и, презрев дары заблуждения, стал я праведником без принуждения — в этом видел я для себя услаждение.

Чистый, без пагубных страстей, прибыл я в город Рей[149], различая четко, где правда, где ложь, какой поступок дурен, а какой хорош. Однажды поутру я увидел: бежит народ, толпа за толпой, как саранчи поднявшийся рой или словно табун скаковых лошадей, и вихрится пыль по следам людей. А бегущие призывают друг друга поторопиться, чтобы проповедью насладиться: проповедника нового славят они до небес — словно сам Ибн Самун[150] перед ними воскрес! А когда мне хочется проповедь услыхать, меня не может ничто удержать — не мешают мне ни крики кричащих, ни давка давящих. Я пустился за всеми, не зная преграды, как верблюд, приставший к чужому стаду, от людей ни на шаг не отставал, словно кто-то меня на ту же нить нанизал. Вот вижу: поток людской собрал — тех, кто велик, и тех, кто мал, тех, кто приказывает и повелевает, и тех, кто слушает и исполняет. А посредине, меж лиц просветленных, отсветом благости освещенных, старец, будто бы месяц согбенный, в одежде отшельников неизменной, а в устах его громко поученья звучат —

такие, что камень любой смягчат! Этой речью полезной старец умы пленил. Вот что он говорил:

— О сын человеческий! Почему лишь обман тебя манит и радует то, что тебе вредит? И отчего твой ум развлекает лишь то, что тебя закабаляет? И сердце твое к себе привлекает лишь тот, кто тебя превозвышает? Ты за тем гоняешься, что тебя угнетает, ты о том забываешь, что полезно бывает! Одежду жадности ты надел на себя, лук вражды натянул, душу свою губя. Ты достатком дозволенным не дорожишь, от запретного не бежишь, добрым проповедям не внемлешь, поучения не приемлешь, и мечешься ты, страстям потакая, словно верблюдица слепая. К добыванию благ ты ищешь средства, тянешься к чужому наследству, гордость богатством поселилась в твоей груди, и ты не думаешь, что тебя ждет впереди. В погоне за суетным ты не ведаешь меры, стремясь насытить две ненасытных пещеры.

Подумай о том, что завтра ты будешь без помощи брошен и Аллахом отчет с тебя будет спрошен! Где лев, где газель — разве смерть разбирает? Или ты думаешь — взятки она принимает? Но нет! Не расплатишься с судьбою своей — ни денег не примет она, ни сыновей! И помогут жителям могил лишь поступки богоугодные, которые каждый на земле совершил. Лишь тому уготованы сады блаженства[151], кто поучается, ища совершенства, и тому, чья душа, поучению верная, от порочных страстей удержана. Знай: человеку вкусить придется только то, чего он своим стараньем добьется, а кто усерден в божьих делах — его усердие усмотрит Аллах[152]!

Тут старец громко стихи запел — восхваление праведных дел:

Твоей жизнью клянусь — не поможет богатство
Мертвецу под плитою могильной ограды.
Щедро деньги расходуй в угоду Аллаху —
Не лишит он тебя справедливой награды.
Ты добром отвращаешь превратности рока,
Что своими когтями терзать тебя рады.
Строит козни судьба и безжалостно губит
И великих и малых, не зная преграды.
А душа тебе только дурное внушает
И готовит тебе униженья наряды.

Ты противься душе, божий страх сохраняя,
Чтобы ввел тебя бог во врата вертограда!
В прегрешениях кайся, облей их слезами,
Словно облако, полное ливня и града!
Бойся смертного часа, приход его страшен,
Вкус его колоквинта[153] — не вкус винограда!
И дворцы и сады он заставит покинуть
И в могиле лежать среди тлена в смрада.
Торопись же исправить ошибки земные
До свершенья последнего в жизни обряда!

Солнца диск тем временем почти закатился, и к вечеру день склонился. Окруженный почтением и вниманием, кончил шейх свои назидания, и в толпе утихли рыдания. Вдруг один человек появился и к эмиру за помощью обратился против наместника чванливого, несправедливого. Но эмир поверил сплетням его врага — видно, правда ему недорога. Отчаянья полный, проситель этот к проповеднику бросился за советом. А старец, горяч и смел, тут же снова стихи запел, на эмира в своих словах намекая и его упрекая:

Дивитесь мужу, что стремился к власти,
Достиг ее — и стал несправедливым.
К источнику жестокости спустившись,
Он ею поит подданных глумливо,
И, голосу страстей своих послушный,
Закон Аллаха он толкует криво.
Ах, знал бы он, что власть его не вечна, —
Не попирал бы правду он спесиво!
И знал бы он, что каяться придется, —
К речам бы не прислушивался лживым!
О люди, подчиняйтесь властелину —
Пускай он управляет нерадиво!
Мурар[154] вы жуйте, если он прикажет,
И на колючках спите терпеливо,
Без ропота сносите все обиды,
Потоки слез пролейте молчаливо!

Зато потом над ним вы посмеетесь:
Ему судьба изменит прихотливо,
Огнем войны сожжет его коварство,
Предчувствуя в нем славную поживу,
Лишит его и власти и богатства,
Которыми гордится он кичливо.
У вас в сердцах тогда пробудит жалость
И пыльный лик, и взгляд его тоскливый.
В тот грозный день[155] вкусит он униженье,
Когда лишится слов красноречивый,
И взыщется с него за все обиды,
За все грехи воздастся справедливо.
Как с подданных он спрашивал ответа —
Так сам за все ответит он правдиво,
И будет он кусать в досаде руки
И каяться, что правил нечестиво!

Потом шейх сказал:

— О владыка! Власть, что Аллахом тебе дана, защите подданных служить должна. Ты величием своим не гордись, в ослеплении не возносись. Поистине власть как ветер, что направление часто меняет, а сан эмира как молния, что дождя нам не посылает. Поистине счастлив тот властелин, чей народ забыл про горе и страх, а тот, кто подданных попирает, будет несчастен в обоих мирах. Не будь беспечным, пренебрегающим жизнью вечной, тем, кто увлекся благами земными и не идет к блаженству путями прямыми, тем, кто с народом своим несправедлив и жесток и, став эмиром, на земле насаждает порок!

Клянусь Аллахом, господь наш за каждым шагом следит, ничего не упустит, ничего не простит! Обо всем, что ты сделал, знает Аллах: и добро и зло твои будут взвешены на весах[156], и, как ты людьми теперь управляешь, на себе все это потом испытаешь.

Говорит рассказчик:

— Когда эмир услышал эти слова, он побледнел и поникла его голова, стал он неправедность свою проклинать и громко вздыхать. Потом, как совесть велела, жалобу разобрал и виновника наказал. Он обласкал проповедника, богато его одарил и к себе во дворец

пригласил. Жалобщик удалился, довольный своей судьбой, и получил по заслугам обидчик злой. И пошел проповедник, покачиваясь горделиво, а люди бежали за ним торопливо.

Мне показалась знакомой его повадка, и я пошел за ним по пятам, приглядываясь украдкой. Когда он заметил мое внимание и понял мои колебания, он сказал:

— Лучший руководитель тот, кто прямым путем тебя поведет.

Потом бросил спутников, подошел поближе ко мне и такие стихи прочел мне наедине:

Ты знаешь, Харис, мой секрет:
Шутник, певец я и поэт,
Царям я услаждал обед
Речами слаще, чем шербет.
Меня не смяло бремя лет,
Хотя судьба меняла цвет;
Нужда — мой горестный сосед —
Не поломала мне хребет.
Лукавство — вот мой амулет,
За мной идет добыча вслед,
Других владельцев словно нет —
Один я всем отец и дед:
И Сим, и Хам я, и Яфет[157]!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я сказал ему: «Клянусь Аллахом, ты — Абу Зейд, ты ближе к богу, чем Амр ибн Убейд[158]»!

Похвале моей проповедник был рад и воскликнул:

— Послушай-ка, милый брат:

Ты правды держись, если даже она
Тебя будет жечь, словно зной — бедуина.
Ты помни о боге: глупее всего,
Рабу угодив, прогневить господина!

Потом он с друзьями простился и походкой медлительной удалился. Мы его долго в Рее искали, повсюду письма о нем рассылали, но увы — узнать не случилось мне, в какой он скрывается стороне.

Перевод А. Долининой

Поэтическая макама
(двадцать третья)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Как-то в юности покинул я отчий дом из-за несчастий, обступивших меня кругом и внушивших душе моей великий страх, так что решил я ночью бежать второпях. Опрокинул и вылил я чашу дремоты и быстрых верблюдов пустил по буграм и болотам, ехал там, куда до сих пор ничья нога не ступала, птица ката[159] и та не залетала. Наконец я прибыл в Город мира — Багдад[160], где беглецу никакие опасности не грозят. С одеждами страха я расстался, гулял по городу и развлекался, плоды удовольствия срывал я и здесь и там и к остроумным прислушивался словам.

Однажды я вышел на площадь, что была позади дворца, — прогулять своего жеребца и дать своим любопытным глазам побродить по красивым местам. Вдруг я увидел всадников, скачущих друг за другом, и людей, что на площадь тянулись цугом. А там, в середине, на майдане[161], — старик в калансуве[162] и тайласане[163]. Я пригляделся — этот старик мальчишку в рваном джильбабе[164] держит за воротник и, ничего не говоря, тащит его прямо к халифским дверям. А у самых дверей на подушках важно сидел грозный вали[165], наблюдающий за порядком, вершитель многих судеб и дел. Старик, обратись к нему, сказал:

— Да возвеличит Аллах эмира, да не лишит его достатка и мира. Взгляни, взял я этого сироту малым ребенком на воспитание, к обученью его приложил старания, лелеял его, успехами его дорожил, а

он, товарищей превзойдя, меч вражды против меня обнажил. От него я такого бесстыдства не ожидал, после того как я знаниями его напитал.

Мальчик вскричал:

— За что выставляешь ты меня на позорище перед почтенным сборищем? Клянусь Аллахом, твоих добродетелей я не скрываю, покров твоей скромности не разрываю! Не сломал я палку своего послушания, не устал восхвалять тебя за благодеяния!

А старик воскликнул:

— Горе тебе, нет поступка более позорного и злодейства более черного! Ты мое мастерство себе приписал и мои стихи бесстыдно украл! Я не знаю гнуснее преступления — это хуже, чем денег чужих присвоение. Ведь поэт охраняет дочерей своего вдохновения, как невинных девиц от глаз вожделения!

Вали спросил:

— А кража была какова? Изменил он смысл или только слова? Или он ничего не изменял и все дословно переписал?

Старик ответил:

— Клянусь тем, кто сделал поэзию сосудом для назиданий и выразительницей желаний, он треть жемчужин моих растерял и две трети моего стада угнал!

Вали велел:

— Прочти мне стихи с начала и до конца, чтоб я разобрался в воровстве твоего юнца.

И старик продекламировал:

О презренный, влюбленный в земные блага и погрязший в грехах,
Пусть сегодня минута услады долгá, ты успешен в делах,
И чело твое метит величья тамга на тщеславья пирах!
Знай, безжалостны рока клыки и рога, завтра будешь в слезах!
Жизнь обманет, разденет тебя донага и затянет в силках —
Так жестока со всеми она и строга, повергая во прах.
От беды отделяет всего полшага — ты блуждаешь впотьмах.
Если доля блаженства тебе дорога в благодатных садах[166],
На дорогу порока не ступит нога, сохранит тебя страх.

Помни, ты не владыка, ты только слуга, а владыка — Аллах!

Вали спросил:

— Так какую же кражу он совершил?

Ответил старик:

— Этот неблагодарный на мои стихи шестистопные покусился коварно, по две стопы от каждой строчки отбросил он и тем нанес мне двойной урон.

Вали сказал:

— Покажи мне, что он отбросил и что забрал.

Ответил старик:

— Слушай меня внимательно и внемли мне старательно, тогда тебе будет ясно, как он меч против меня обнажил и какой проступок против меня совершил. И снова старик стихи запел, а гнев на устах его горел:

О презренный, влюбленный в земные блага!
Пусть сегодня минута услады долга
И чело твое метит величья тамга!
Знай, безжалостны рока клыки и рога!
Жизнь обманет, разденет тебя донага —
Так жестока со всеми она и строга.
От беды отделяет всего полшага!
Если доля блаженства тебе дорога,
На дорогу порока не ступит нога.
Помни, ты не владыка, ты только слуга!

Вали от возмущения даже привстал. Обратившись к мальчику, он сказал:

— Стыд тебе и позор, питомец неблагодарный и гнусный вор!

Ответил мальчик:

— Пусть я буду от поэзии отлучен и с врагами ее соединен, если я стихи его знал, когда свои сочинял! Просто наши мысли поил один водопой: шли они как в караване верблюдицы — одна наступала на след другой.

Говорит рассказчик:

— Казалось, что вали поверил в правдивость его утверждения и словно раскаялся в поспешности своего суждения. Он долго раздумывал, как правду ему раскрыть и подделку от мастерства отличить, и не увидел другого пути, как устроить им состязание, связав их узлом соревнования, и сказал им:

— Если хотите показать, кто из вас прав, меня третейским судьей избрав, выходите на состязанье иджазы[167] — сочините стихи вдвоем, попеременно, стих за стихом, свое уменье вы покажите открыто — лишь ваше искусство будет для вас защитой! Оба воскликнули в один голос:

— Мы согласны на испытание! Что сочинять? Мы ждем твоего приказания!

Вали сказал:

— Из красот поэтических я больше всего люблю таджнис[168], он им всем глава и раис[169]. Двадцать строк стихотворных вы расшейте его цветами и драгоценными усыпьте камнями — так вы покажете свое искусство, а в стихах вы опишете мои чувства к владычице красоты, властительнице мечты, стройной станом, притворством терзающей и обманом, нарушающей обещания, затягивающей ожидание, и покажете, как горька судьба ее бессловесного раба.

Говорит рассказчик:

— Сначала вышел старик вперед, а за ним уж и мальчик в свой черед, и так они говорили попеременно за строкою строку, а вали слушал внимательно и был начеку:

Ты сладостной лаской своею мне сердце пленила,
Как ласка потом, изловчившись, меня укусила.
Меня очернила напрасно — и я умираю,
Томлюсь в одиночестве горьком, а ночь как чернила.
Готов я пасти кобылиц твоей лжи и обиды,
Я па́сти греха не боюсь, коль тебе это мило.
Боюсь твоего отчужденья, оно меня душит,
Разлука с тобой — для души и для тела могила.
Притворной измены стрела прямо в сердце мне целит,
Не хочешь того исцелить, кого страсть погубила.
В крови моей бродит она, не давая покоя,

Без крова бродить заставляет неистовой силой.
О мести подумать мой ум не решается робкий —
Такое высокое место ты в нем захватила!
Меня заманила ты в зáмок своих обещаний,
Но двери любви на замóк беспощадно закрыла.
И губы, в гибкий твой стан — для влюбленных погибель,
Губительный трепет и зной разливают по жилам.
Хотел бы я узы любви разорвать — да не смею,
О, если б ты душу, что рвется к тебе, пощадила!

Так, строку за строкой, чередуясь, они стихи говорили и блеском мысли вали пленили. Сказал он:

— Аллах свидетель, вы две яркие звезды на небосклоне иль два алмаза в одной короне! Поистине расходует этот юнец лишь то, чем снабдил его Аллах, ему дано такое богатство, что он не нуждается в чужих благах. Раскайся, о шейх, в своем обвинении и скорей воротись к его прославлению!

Сказал старик:

— Не вернется к нему моя любовь, моего доверия не обрести ему вновь. Его непочтительность я испытал и черную неблагодарность узнал.

Возразил ему мальчик тогда:

— В гневе нет благородства, низкое дело — вражда. Разве Аллах считает возможным возводить на невинного обвинения ложные? Даже если б я дурно поступил или грех большой совершил — разве не помнишь, как ты читал мне в стихах поучения в дни твоего расположения?

Если друг твой споткнется на правом пути,
Слишком строго ошибки его не суди!
Если он, отвернувшись, обидел тебя,
Ты жестоко его упрекать погоди!
Друга ты одаряй и даров не считай,
От него ты ответных подарков не жди.
Он возносится — ты унижайся пред ним,
Первым быть он стремится — ты будь позади.

Друг изменит, обманет, нарушит обет —
Ты же верность ему, как святыню, блюди.
В обхождении друга учтивость искать —
Ждать, чтоб небо без туч проливало дожди.
Видел ты человека, чтоб зла не творил?
Одного хоть такого попробуй найди!
Крепко связаны в жизни и зло и добро,
Так повсюду — хоть землю кругом обойди!
Ты видал, вырастают в саду на ветвях
Сотни острых шипов и плоды посреди.
И примешана к сладости длительных лет
Горечь старости, ждущей тебя впереди.
В наше время попробуй людей испытай —
Ты у каждого встретишь коварство в груди.
В жизни много ремесел испробовал я,
И меча и пера я изведал пути.
Помни, лучший удел — все науки познать,
И уверенно этим путем ты иди!

Говорит рассказчик:

— Старик как змея зашипел, словно сокол, высматривающий добычу, на мальчика поглядел, затем сказал:

— Клянусь Аллахом, который велик и могуч, который небо украсил звездами и воду низвел из туч, — если я и надумаю мириться, то лишь затем, чтоб от позора укрыться. Этот юнец привык жить на моем содержании, чтоб я заботился о его пропитании. Время было обильное, всего нам хватало, а скупость меня не донимала. Теперь же время пришло, муками замутненное, несчастьями начиненное, рубище рваное тело мое закрывает с трудом, даже мыши ко мне не заходят в дом.

Говорит рассказчик:

— Смягчилось тут сердце вали, он подумал, что превратности времени их совсем доконали, ему захотелось бедным поэтам помочь, и он велел уйти всем зевакам прочь.

Говорит рассказчик:

— Среди толкотни и суеты я все присматривался к старику, стремясь разглядеть его черты. Мне казалось, я где-то его видал, да только издали не узнал. Когда же толпа начала редеть, я подошел поближе и обоих сумел разглядеть: Абу Зейд и сын его рядом стояли — и понял я, что они опять какую-то плутню затевали. Смотрю: уже разошелся народ, и к старику, желая признаться, ринулся я вперед. Но старик ухитрился мне знак подать и на месте меня удержать. Покорный взгляду его и жесту, я стоял, не трогаясь с места.

— Что ты здесь делаешь? — спросил меня вали. — Ведь мы всем удалиться приказали!

Старик поспешил сказать:

— Это мой друг, он мне помогает щедростью своих рук. Тогда разрешил мне вали остаться и на подушках рядом с ними располагаться. А за стихи он им пожаловал плату: по двадцать дирхемов[170] и по халату, потом заставил их клятву дать — дружбу до самой смерти не нарушать. Они горячо за щедрость благодарили и уйти разрешения попросили. Я пошел за ними, чтобы узнать, где они думают остановиться, и тайной беседою со стариком насладиться. Едва мы покинули эмирский двор и вышли все вместе на простор, как меня нагнали помощники вали и обратно к нему позвали. Я сказал Абу Зейду:

— Вот задача! Зовет он меня, чтоб расспросить о тебе, не иначе. На какую бы выдумку мне решиться и какую рассказать ему небылицу?

Абу Зейд ответил:

— Это простая задача — объясни ему, что он одурачен и что ветер его встретился с ураганом, а ручеек — с океаном.

Я сказал:

— Боюсь, что тебя опалит его гнева пожар или настигнет его наказанья удар.

Он ответил:

— Я сейчас из Багдада в ар-Руху[171] уйду стороной. Скажи, разве может Южный Крест встретиться с Полярной звездой?

Пришел я к вали в смущении и застал его в явном возбуждении: талант Абу Зейда громко он восхвалял и о горькой судьбе его вздыхал. Потом сказал мне:

— Заклинаю тебя Аллахом, признайся наедине, не при всех, — не ты ли ссудил тому старику одежду, изъянов полную и прорех?

Ответил я:

— Нет, клянусь тем, чьей милостью ты — султан, он не брал у меня одежды с изъянами, это тебе нанесен изъян!

Вали от гнева покраснел и скосил глаза, потом успокоился немного и сказал:

— Клянусь Аллахом, всегда я умел плута разоблачить и любое мошенничество раскрыть. Но я не видел, чтоб шел на обман тот, кто надел одежду аскетов — калансуву и тайласан. Ему меня удалось обмануть, потому что избрал он столь недостойный путь. А теперь хотел бы я знать наверное, куда направился этот обманщик скверный?

Я ответил:

— Он понял, что границы дозволенного преступил, и поскорее покинуть Багдад решил.

Вали воскликнул:

— Пусть Аллах его цель не приблизит и, куда бы он ни направился, всюду его стеснит и унизит! Большей хитрости я не встречал и горше, чем этот обман, ничего не вкушал. Нет ему никакого оправдания! И скажу я тебе в назидание: только ради его таланта я не буду его искать, хотя его нужно бы как следует наказать. Но я не хочу, чтобы в Багдаде хоть кто-то проведал, как я остался внакладе. Ни чернь, ни знать не должны ничего об этом знать. Боюсь я всеобщим посмешищем оказаться и с местом своим при халифском дворе распрощаться.

И вали потребовал, чтоб я обещал ему, пока я в столице, ничего не рассказывать никому.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я поклялся, что тайну его никому выдавать не намерен, и, как ас-Самауваль[172], был обещанию верен.

Перевод А. Долининой

Караджийская макама
(двадцать пятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Как-то раз остался я на зиму в Карадже[173] из-за торговых дел и из-за долга, который я кое с кого получить хотел. А зимою в Карадже стужа сурова — не хотел бы я испытать ее снова. Холод жег и терзал меня, заставляя все время сидеть у огня. Я по целым дням не выползал из норы до той поры, пока не откликнусь на голос голода, когда он меня вконец донимал, или на голос муэдзина, который к молитве призывал. И вот однажды, когда дул ветер колючий и низко нависли тучи, пришлось мне гнездо свое покинуть из-за дела, которое нельзя было отодвинуть. Вдруг я увидел почти раздетого старика — фута[174] на нем так была коротка, что ноги не прикрывала, а его голову небольшая чалма обвивала. Густая толпа вокруг стоит, а он, своей наготы не стесняясь, громко стихи говорит:

О люди! Позор нищеты я не смою,
Коль я без одежды суровой зимою.
Но что нагота и печальные вопли
В сравнении с тайной бедою немою?!
О, был я когда-то и знатен и славен,
Гордился по праву высокой чалмою;
Спасенье несли мои рыжие кони
И гибель — гнедые с железной каймою[175];
В день пира я целому стаду верблюдов
Повязывал шеи кровавой тесьмою.

Но меч вероломства судьба обнажила,
Стал дом опустелый печальной тюрьмою.
Голодный и слабый, я брошен друзьями,
И веки окрашены горя сурьмою.
Превратности времени — всадники злые —
Всю ночь не дают мне забыться дремою.
И в зимнюю стужу, одежды лишенный,
Стою я пред вами с пустою сумою.
Найдется ли щедрый и храбрый заступник,
Чтоб смело поспорить с судьбою самою,
Закрыв наготу мою чем приведется —
Лохмотьями или плащом с бахромою?

Потом он сказал:

— О вы, утопающие в благах, выступающие в мехах. Ниспосланное добро не копите, пользу посильную приносите. Блага мирские приманчивы, но превратности мира переменчивы. Сила — призрак пустой, удача — облачко в летний зной. Аллах свидетель, раньше, бывало, пять «п» я к зиме припасал и стужу с ними встречал. А сегодня, о люди, я вам признаюсь: вместо подушки я на руку опираюсь, кожей собственной одеваюсь, из ладони питаюсь. Пусть человек разумный поймет мое положение и опередит судьбы своей превращение. Счастлив тот, кто долей чужой поучается и к жизни последней подготовляется!

Ему сказали:

— Ты талантом и знаниями блеснул перед всем народом, теперь открой, из какой же знатной семьи ты родом?

Старик возразил:

— Что гордиться истлевшими костями! Гордиться следует только тем, чего достигаем мы сами: добродетелью и праведными делами!

Затем он продекламировал:

Клянусь, мы дети нынешнего дня,
Зачем же гнать мне в прошлое коня?
Гордиться надо делом рук своих —

Не тем, что кто-то сделал до меня!

Тут он скорчился, весь сжимаясь, потом встал, от холода содрогаясь, и сказал:

— О Аллах, дарами мир наполняющий, просьбы рабов твоих без ответа не оставляющий, благослови своего посланника, род его сбереги и мне от мучений холода помоги! Пришли сюда человека великодушного, тебе послушного, который, себя забывая, другим помогает в нужде и раба твоего не оставит в беде!

Так говорил он, словно в душу его Исам[176] вселился и аль-Асмаи[177] в языке воплотился. А стрелы взоров моих все летели к нему, рассеивая сомнения тьму. Наконец я понял: это Абу Зейд нас речью своей увлек, а его нагота — для добрых людей надежный силок. Заметив, что я его узнал и могу раскрыть, что он скрывал, старик сказал:

— Клянусь светилами и небесами, звездами цветов и звезд цветами, лишь тот укроет меня, кому от природы благородство дано и кровью доблести сердце напоено!

Я уловил, что он в виду имеет и чего другие не разумеют. Тяжко мне было видеть, как дрожит его тело, как его кожа сморщилась и посинела. Снял я шубу, в которую днем наряжался, а ночами холодными укрывался, и Абу Зейду ее отдал, чтоб он от холода не страдал. Старик надел ее без смущенья и тут же начал щедрости моей восхваленье:

О, как прекрасен мою наготу пощадивший!
Я благородством его от мороза согрет!
Будет укрыт от людских и от джинновских[178] козней
Шубой укрывший меня от мучений и бед!
Пусть он сегодня одет лишь моею хвалою —
Завтра ведь райской парчою он будет одет!

Говорит рассказчик:

— Своим красноречием привлек он сочувствие и внимание всей компании. Стали люди набрасывать на него шубы, шелками крытые, и

джуббы[179], узором расшитые. Столько набросали, что он с трудом удержал, под тяжестью их едва не упал и взмолился Аллаху, чтоб он на Карадж всю милость свою ниспослал. А потом, как велит его обычай, он ушел, довольный богатой добычей. Я поспешил за ним вослед, и, когда мы вышли туда, где глаз посторонних нет, я сказал:

— Ты от холода мог и с жизнью расстаться, стоит ли так оголяться?

Он ответил:

— Увы, на упреки ведь все мы скоры, порицанья — пустые разговоры. В том, чтобы, сути не зная, друга корить жестоко, нет никакого прока. Клянусь тем, кто голову старца сединой осветил и земле плодородие подарил, — кабы не оголялся, я бы в убытке остался, с подтянутым животом и с пустым сундуком!

После этого он мрачный вид на себя напустил и меня покинуть решил. Но напоследок сказал:

— Ты ведь знаешь характер мой — всегда я перехожу от одной охоты к другой, попеременно то Зейда, то Амра дурачу[180], и в выигрыше я всегда — не иначе. Ты, кажется, хочешь мне помешать двойной урожай с твоего подарка собрать? Избавь меня от твоих насмешек и поучений, и Аллах простит тебе болтовню и избавит от прегрешений, Но я его весело потянул за рукав и сказал:

— Послушай, ведь ты не прав! Клянусь Аллахом, если бы я наготу твою не прикрыл и грехи твои ото всех не скрыл, ты бы так и остался с голой кожей, не стоял бы сейчас на луковицу похожий! Благодеяние мое ты признай и за двойное укрытие мне воздай: или шубу мою верни, или все про пять зимних «п» объясни.

Он удивленно на меня посмотрел и гнев едва удержать сумел, потом сказал:

— Что касается шубы, то это — вчерашнего дня возвращение или мертвого оживление; что же касается зимних «п» — то, видно, знания твои помутнели и сосуды памяти опустели: ведь я когда-то тебе читал стихи, что Ибн Суккара[181] о зиме написал:

Идет зима, и пять утех всегда на встречу с ней беру я:
Плащ теплый, пламя очага, пиры, постель и поцелуи!

Потом он сказал:

— Этот ответ исцеляющий полезнее, чем джильбаб[182] согревающий, и лучше, чем любая обнова, так что иди себе подобру-поздорову.

Расстался я с ним и с шубой своею, к несчастью, и все время дрожал, пока зимнее длилось ненастье.

Перевод А. Долининой

Бедуинская макама
(двадцать седьмая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда я был юнцом, недавно ушедшим из детства, захотелось мне пожить с бедуинами по соседству: воспринять их характер — гордый, нерабский — и наслушаться речи чисто арабской[183]. И вот, приготовившись к трудам и дорогам длинным, я начал свой путь по горам и долинам. Ревущих купил я, сколько в пустыне надо, и блеющих также — целое стадо[184].

У красноречивых нашел я приют — у тех, кто, словно эмиры, привольную жизнь ведут. И стал я жить средь сынов пустыни, не боясь ни забот, ни клыков отныне: бедуины мне лучшие пастбища дали и от вражеских стрел меня защищали.

Как-то лунною ночью зашла далеко обильно дававшая мне молоко. Решил я тотчас отправиться в путь — поскорее сбежавшую вернуть. Схватил я копье и вскочил на коня, и конь галопом понес меня по голой пустыне, по лесистой долине. Но своей верблюдицы я не сыскал, хотя до самой зари скакал. Я прервал ненадолго свою ловитву только для утренней молитвы. Снова потом я в седло вскочил — и снова коня галопом пустил. Увижу след — скачу по нему, холм впереди — на него коня подниму, всадника встречу — расспрошу, но пропажи своей не нахожу, словно спешу к колодцу напиться, а в колодце вода для питья не годится. Приблизился полдень, зной палил, и приугас моих розысков пыл — в такой час и Гайлан[185] свою Мейй забыл. День был тени копья длинней, материнских слез горячей. Решил я от зноя укрыться и немного вздремнуть, прежде чем

продолжить свой путь, а не то усталость свалит с коня и смерть неминучая настигнет меня.

Нашел я дерево густое и расположился в тени для постоя: как хорошо — и конь отдохнет, и всадник его до заката соснет! Но вдруг я путника заметил, который, наверное, то же место приметил — и путь свой явно к нему наметил. Вторженье чужого было мне неприятно, и стал я просить Аллаха, чтобы путника он повернул обратно, но потом решил о беглянке его расспросить — вдруг укажет он путеводную нить…

Когда ж подошел он ко мне поближе, я пригляделся — и с радостью вижу: сам шейх ас-Серуджи предо мной — с дорожной котомкою за спиной! И так он со мной приветлив был, что я о пропаже своей забыл: стал расспрашивать, как идут у него дела и какая судьба сюда его привела. Старец и глазом не моргнул — тут же в ответ стихи затянул:

Если хочешь узнать о моей ты судьбе,
Окажу уваженье, отвечу тебе:
Я скитаться из города в город привык —
И науку ночных путешествий постиг.
Посох — верный мой друг, а сандалии — конь,
Мой дорожный припас — что поймает ладонь.
В том краю, куда ноги меня приведут,
Мой приятель — удача, а хан — мой приют.
Никакие печали не давят мне грудь:
Я прошедшие дни не пытаюсь вернуть.
Ты поверь: потому моя поступь легка,
Что душа от тоски и забот далека.
По ночам так спокойно и сладко я сплю,
Потому что на сердце обид не коплю.
Все равно, из какого источника пить
И в какую ловушку добычу ловить,
Но дорога одна отвратила мой взор:
Я блага никогда не куплю за позор!
Избегаю я тех, кого клонит порок
Ради благ преступить униженья порог.
Лучше жизни лишиться, в могиле лежать,

Чем бесчестьем богатство себе добывать!

Потом Абу Зейд поднял взор на меня и задал вопрос:

— Неспроста отрезал Касир свой нос?[186]

И тут я знакомцу рассказал, сколько из-за вчерашней беглянки перестрадал. А он мне в ответ:

— Что пропало, о том и печали нет! Не ищи того, что потоком времени смыло, не гляди на то, что в этом потоке уплыло, пусть это даже золото было. С тем навек простись, что из рук ушло, чтоб оно твое сердце всю жизнь не жгло, даже если ушедший — твой брат родной или душе твоей друг дорогой.

Потом он спросил меня:

— Не пора ли нашу беседу прервать и немного поспать? Тела наши валит с ног усталость, но ничто так не снимет телесную вялость, как полуденный сон в разгаре лета, — давно испытано средство это.

Я ответил:

— Если хочешь спать, я не буду тебе мешать.

Улегся он, ноги протянул и словно бы сразу крепко уснул. Я же стоянку решил охранять и на локоть оперся, чтобы случайно не задремать. Но едва язык мой бездействовать стал, как и меня крепкий сон сковал.

Поднялся я с земляной постели, когда уже звезды ярко блестели. Абу Зейда рядом я не нашел, да и мой оседланный с ним ушел… Как Якуб[187] о сыне, я горевал и, словно Набига[188], в печали не спал. Я остаток ночи безмолвно сидел и с великой тоскою на звезды глядел. Все думал о том, как я вернусь, как я пешим домой доберусь. Когда улыбкой восток озарился, в пустынной степи верховой появился. Я несколько раз рукой ему махнул, давая знак, чтоб он ко мне свернул, но он пренебрег моим желаньем, усилив стократ мои страданья, — проехал важно в отдаленье, убив меня стрелою презренья. Но я поспешил за ним бегом: хотел, чтоб он взял меня вторым седоком. Его спесивость я стерпеть был готов, лишь бы вновь обрести желанный кров.

Устал я, но всадника все же догнал — что же при этом увидал: он сидит на моей верблюдице ходкой: моя потеря — его находка! Я тотчас с горба его столкнул и руку к уздечке протянул. И сказал:

— Хозяин этой верблюдицы — я. Я ищу ее, это — пропажа моя! Молоко, что из вымени ее бежит, и потомство — все мне принадлежит! Жадным, как Ашаб[189], не будь: только мне и себе затруднишь ты путь…

Но человек стал то нагло кричать, то унижаться, то наскакивать, то защищаться. Он то, как лев, на меня нападал, то, как собака, хвостом вилял.

Но тут Абу Зейд появился нежданно, яростью, как леопард, обуянный, все круша, словно ветер ураганный.

Аллахом клянусь, я не ждал добра: случится то, что случилось вчера — с ним явится новая беда, а он уйдет, не оставив следа. Я напомнил ему, что он днем обещал и как он ночью обет сдержал. Поспешил я задать прямой вопрос, что теперь он с собой мне принес: исправление бед или новый вред?

Абу Зейд ответил:

— Избави Аллах! Честь храню я в таких делах: кого я ранил, не добиваю, после бури ночной днем самума[190] не посылаю. Нет, я пришел тебе сказать, что о пропаже мне удалось разузнать и что правой рукой твоею хочу я стать.

И мигом ушло мое раздражение, поскольку исправилось положение. Абу Зейду я обо всем рассказал, на противника наглого указал. Абу Зейд на него, как лев на добычу, воззрился, словно острым копьем, взглядом в него вонзился и поклялся тем, кто утро на землю шлет, что бесстыжий с позором без добычи уйдет — и будет рад, что обратно дорогу найдет, а не то Абу Зейд своему копью даст крови упрямца напиться — заставит его детей и друзей слезами залиться. Бросил в испуге недавний седок к ногам верблюдицы поводок и прочь пустился, от нас убегая, на ходу от страха ветры пуская. Сказал Абу Зейд:

— Получай свое — поскорее взберись на нее. Можешь радоваться теперь: вернулась одна из двух потерь. Запомни мои слова: одно несчастье лучше, чем два…

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я не знал: за коня Абу Зейда корить иль за верблюдицу благодарить? Сколько весит польза и сколько вред? Меж тем Абу Зейд приготовил ответ, как будто подслушал мои сомнения и угадал мое

смущение. Он улыбнулся мне в утешение и такое сказал стихотворение:

Кротко терпишь ты меня,
Так не терпит и родня!
Огорчил тебя вчера —
Нынче радовать пора.
За добро вину прощай:
Не хвали, не упрекай!

Потом Абу Зейд добавил:

— Когда я гневный, ты только печальный; нам с тобой не сойтись — вот мой привет прощальный.

И пустил он коня моего вскачь. Что тут поделаешь? Плачь не плачь… Я на верблюдицу взобрался и до становища все же добрался после всех пережитых напастей — больших и маленьких несчастий.

Перевод В. Борисова

Васитская макама
(двадцать девятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Судьба жестокая, которая часто наши желания гасит, как-то раз против воли занесла меня в город Васит[191]. Город был мне совсем незнаком, не знал я, кого там встречу, найду ли приют и дом. Был я как рыба, выброшенная на берег морской, или как в черном локоне волос седой, когда счастье мое лицемерное и доля неверная привели меня в хан[192], где бывают приезжие из многих стран, люди разные — деловые и праздные. И двор и худжры[193] были в том хане чистые, а постояльцы — речистые. Это нравилось чужестранцам, и они подолгу здесь пребывали, даже тоску по родине забывали.

Я в худжре отдельной расположился — благо, хозяин не дорожился, — не пробыл там и минуты одной, как слышу вдруг голос за стеной:

— Подымайся, сынок: удача тебя ожидает и враг не подстерегает. Возьми с собой луноликую, белоликую, самого чистого происхождения, чья плоть истерзана до изможденія: сначала завернута, потом раскрыта, заключена в тюрьму и побита, напоенá, потом воды лишена и в огне пылающем обожжена, и быстро беги к торговым рядам — как влюбленный бежит за красавицей по пятам — и сменяй свою спутницу на оплодотворяющего, приносящего пользу и вред причиняющего, кто печалить может и веселить, и грусть и радость в сердце вселить, вздох его огнем опаляет, плод его тьму озаряет, слова его внятны, приношенья приятны; если кто по нему

ударит, он громы и молнии подарит, пламенем пышет, жаром в лохмотья дышит.

Говорит рассказчик:

— Когда речь за стеной умолкла, я выглянул поскорей; вижу: юноша стройный из соседних вышел дверей. Я оглядел его внимательным взглядом: никого с ним не было рядом. Как видно, в словах таилась загадка из тех, что умы смущают и любопытство в них возбуждают. Я пустился юношу догонять — очень хотелось мне смысл этих слов понять. А он поскакал, словно конь, бьющий землю копытом, и прилетел на рынок быстрее ифрита[194], рыскал он здесь и там по торговым рядам, наконец добрался запутанными путями до торговца кремнями, выбрал нужный ему кремешок, развязал мешок, лепешку оттуда достал и торговцу в обмен на кремень отдал.

Я был восхищен остроумием этих людей и красотою загадки и сразу увидел в них серуджийцев повадки. Тут я бросился в хан со всех ног, желая проверить, такой ли я меткий стрелок. Посмотрел и вижу — догадки мои верны: Абу Зейд сидит во дворе у стены. Были мы оба рады встрече нежданной, но постоянно желанной. После приветствий старик спросил:

— Почему же ты родину покинул? Она отвернулась от тебя или сам ты ее отринул?

Я ответил:

— Судьба ломала мне кости жестоко, и несправедливость лилась на меня потоком.

Он сказал:

— Клянусь тем, кто дождь низвел с облаков и украсил деревья гроздьями сладких плодов, искривились теперешние времена и враждебность повсюду видна. Не ищи состраданья в людских сердцах, один остался заступник — Аллах. Скажи мне правду, как ты покинул дом — богачом или жалким бедняком?

Я ответил:

— Рубашкой служил мне мрак ночной, а песню в пути пел мне желудок пустой. Абу Зейд опустил глаза и землю палкой стал ковырять — видно, раздумывал, дать мне в долг или зекат[195] для меня собрать. Внезапно он встрепенулся, словно учуял добычу или случай удачный ему подвернулся, и сказал:

— Хочу я тебя женить, чтобы с семьей породнить, которая раны твои исцелит и крылья твои вновь оперит.

Я ответил:

— Этим путем неплохо трудности разрешить бы, только скажи: какая же без калыма женитьба? Да и кто из племени благородного захочет в зятья бродягу безродного?

Он промолвил:

— Я буду посредником, на тебя укажу и им про тебя расскажу. Это такая семья — обычай их сломанное вправлять, пленника освобождать, родственника уважать, добрый совет принимать. Посватайся к ним сам Ибрахим ибн Адхам[196] или Джабала ибн Айхам[197], по пятьсот бы дирхемов[198] с них взяли, не более, из божьего страха, — столько, сколько платил за жен посланник Аллаха. Но не тревожься: с тебя не потребуют выкуп вперед и до развода дело у тебя не дойдет. Увидишь, я сам твоим сватом буду и все, что нужно для свадьбы, добуду, сватовством сосватаю неслыханным и нигде никогда не виданным.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Обещаньем своим старик меня соблазнил, и, хоть невесту он от меня утаил, я сватовство ему поручил. И вот Абу Зейд принялся за дело, все в руках у него так и кипело; бегал он туда и сюда, наконец вернулся, сияя, громко господа нашего восхваляя, и сказал:

— Радуйся, больше тебе не надо судьбу упрекать и по крохам насущный хлеб собирать. Все уже будет в порядке скоро: мне поручено заключение брачного договора.

Он пошел угощение приготовлять и постояльцев хана на пир приглашать.

Когда натянула ночь шнуры своего шатра и всем, у кого есть двери, запирать их было пора, Абу Зейд кликнул клич гостям собираться. Все пришли, никто не хотел отказаться. Свидетели, гости — все построились в ряд и в ожидании перед Абу Зейдом стоят. А он достал астролябию и таблицы, чтоб в их изучение погрузиться. Гороскопы так долго он вычислял, что собравшийся люд стоя почти задремал. Я сказал ему:

— Слушай, хватит считать, видишь — людям хочется спать.

Он важно на звезды рукой показал и наконец узел молчания развязал, поклявшись горою Синаем и Книгой священной, которую мы

почитаем[199], что сегодняшний вечер не забудется никогда, что будут люди о нем вспоминать до самого Страшного суда. Затем на колени опустился и с призывом «Внемлите!» к нам обратился. Он сказал:

— Хвала Аллаху, царю всесильному, владыке любвеобильному, горы укрепляющему, дожди посылающему, нужды удовлетворяющему, тому, кто холодного согревает, голодного угощает, землю расстилает; тому, кто тайны знает и постигает, великих губит и унижает, века стирает и века повторяет, дела начинает и дела завершает; тому, чья милость нетленна и совершенна, чья туча всегда водою богата и дождями чревата; тому, кто на просьбы отвечает, надежды сбываться заставляет, бедняков обогащает! Хвалой беспредельной я его восхваляю и богом единым провозглашаю!

Это — Аллах, и нет для людей божества другого, никто не избегнет того, что Аллах ему уготовил. Он послал Мухаммеда[200] главой над исламом и для правителей всех имамом[201], чтоб избавить невежд от их заблуждения и внушить им к идолам отвращение, законам веры их научить, запретное от дозволенного отделить. Аллах даровал ему почет и покров, свято имя его во веки веков! Да будет бог его славной семье помощник и страж, пока дрожит в пустыне мираж, пока страусенка проворен бег, пока плавает в небе солнца ковчег, пока люди радостной и шумной толпой приветствуют месяц молодой[202].

Творите добро — да хранит вас Аллах, — ревнуйте о благе на дозволенных богом путях, покайтесь в грехах! Приказ Аллаха слушайте и запоминайте: узы родства упрочивайте и укрепляйте, страсти свои отбрасывайте и отвергайте! Роднитесь с людьми благородными, праведными, Аллаху угодными. Рвите связи с людьми алчными и порочными, в своей добродетели непрочными.

Тот, кого я сватаю вам, чист и высок рождением, знатен происхождением; щедрость его — источник сладкий, его обещанию верить можете без оглядки. Вот он прибыл в ваш дом, к беспорочной невесте добродетельным женихом. Он поклялся — а клятва его нерушима — столько дать за невесту, сколько посланник давал досточтимый. Это — самый прекрасный зять, ему вы без страха можете дочь отдать. Я, как сват, за него поручиться готов: он не знает изъянов и грехов. Пусть живется вам без печали и страха, чтобы каждый день могли вы славить Аллаха! Да внушит он людям стремление к исправлению их положения, чтобы каждый к Страшному

часу делал приготовления. Господу миров — хвала неустанная, а посланнику его — слава постоянная!

Так он речь, искусно нанизанную, завершил и брачный договор огласил. Затем снова запел, как соловей, желая мне счастья и сыновей. А потом он сласти принес, изготовленные его руками, — память об этих сластях будет храниться веками! Как и все, потянулся я к угощению, отнюдь не испытывая к нему отвращения, но Абу Зейд меня за руку удержал, сделав знак, чтоб я только подавал. Клянусь Аллахом, не прошло и минуты — упали все, как подкошенные, словно детищем чаши сброшенные, словно пальмы, гнилью внутри искрошенные. Понял я хитрость Абу Зейда, великую, многоликую, и сказал:

— О души своей погубитель и денег своих ревнитель! Ты что для людей приготовил — сласти или же горькие напасти?

Он ответил:

— К этим блюдам, которыми я угощал, я немножечко банджа[203] подмешал.

Я сказал:

— Клянусь тем, кто заставил звезды сиять, чтобы путнику верный путь указать, — этот поступок черный будет в памяти у людей среди деяний позорных!

Потом я подумал, что хитрость раскроется с наступлением дня, и испугался, что все обернется против меня. От боязни сердце мое трепетало и душа улетала. Когда Абу Зейд заметил, что мое беспокойство растет и страх меня гложет и грызет, он сказал:

— К чему обжигающие сомнения и явные опасения? Если, старую дружбу храня, боишься ты за меня, то беспокоиться нужды нет — не успеешь моргнуть, от меня простынет и след, я в таких переделках не раз бывал и всегда ускользал. А если дело твое таково, что ты боишься за себя самого, если ты опасаешься злобы и мщенья, то доешь что осталось от угощенья. Я же с собой прихвачу для виду твою рубаху, и нечего будет тогда дрожать от страха: найдешь человека, который заступится и поможет и достаток твой приумножит. А если не хочешь — беги скорей, чтобы спастись от гнева просыпающихся гостей.

Затем Абу Зейд обошел все худжры, перерыл сундуки, обыскал кошельки, самое ценное он забирал, прочим пренебрегал, и то, что

оставил владельцам он, было подобно кости, из которой мозг извлечен. Потом он мешок наполнил и завязал, полы одежды для пути подобрал, подошел ко мне как ни в чем не бывало, словно его бесстыдство дружбу нашу не нарушало, и сказал:

— Не хочешь ли ты в аль-Батиху[204] поехать со мной, там я женю тебя на красотке другой!

Я же поклялся тем, кому Аллах ниспослал правдивый Коран, тем, кому чужды коварные каверзы и обман, что не в силах жениться на двух женах одновременно и общаться с ними попеременно. Потом я сказал, привычке его подражая и его же мерой ему отмеряя:

— Достаточно мне одеяний позора от свадьбы с одной, — жени уж другого на другой!

Моим словам Абу Зейд улыбнулся и обнять меня потянулся, но я сердито от него отвернулся. Когда он увидел мой отказ и понял, что котел моей злобы вскипел от его проказ, он продекламировал:

Как снесу я, о друг мой, твое отвращение?!
Видно, шлет мне судьба свое злобное мщение.
Упрекаешь меня, что соседей позорю я, —
Как жестоко и горько твое осуждение!
Не кори ты меня за проделку недобрую —
Эти люди во мне возбудили презрение:
Я их знаю давно и ни разу не видывал,
Чтобы гостю они оказали почтение,
Много дней я и пробовал их, и испытывал —
И в сердцах и в умах находил оскудение.
Или страх возбудить они в людях стараются,
Или видят во всем для себя устрашение.
Среди них нет ни добрых, ни чистых, ни преданных,
Ни таких, что несут для души исцеление.
Словно волк на ягненка, на них я набросился,
Их повергло на землю мое нападение —
Словно я смертоносною чашей их потчевал,
От которой никто не найдет избавления.
Их имущество стало моим достоянием,
Им на долю осталось одно унижение.
Принесла мне добыча плоды свои спелые,

И плодов этих сладостно будет вкушение.
Те, кому я поранил умы своей хитростью,
Долго ищут меня в бесконечном кружении.
Богачей я обманывал, гордо ступающих,
У которых ковры и шелка во владении;
Больше благ принесли мне уловки и хитрости,
Чем победа любая в великом сражении!
Я угрозы терпел, попадал я в опасности,
Даже льву было б страшно в моем положении!
Я использовал смело людские оплошности,
Любовался великих внезапным падением,
Я людей обирал, соблазнив небылицами,
И греховными были мои побуждения,
Но всегда я на божию милость надеялся,
От Аллаха я ждал для себя снисхождения.

Говорит рассказчик:

— Закончив стихи, он разразился рыданиями и стал просить у Аллаха прощенья с воплями и стенаниями, так что сердцу пришлось моему смягчиться и сам я тут же за Абу Зейда начал Аллаху молиться. Вскоре поток его слез прекратился, взял он под мышку мешок и в путь пустился, сыну сказав:

— Остальное ты захвати, и пусть Аллах нас охраняет в пути!

Говорит рассказывающий эту историю:

— Когда я увидел обоих плутов уход и подумал о том, что меня неизбежно ждет, понял я, что в городе оставаться — это значит с жизнью своей распрощаться. Ночь провел я в дороге, тревогой и страхом томим, надеясь, что сам Аллах рассчитается со сватом моим!

Перевод А. Долининой

Сурская макама
(тридцатая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Покинул я славный город, который выстроил аль-Мансур[205], и отправился в Сур[206]. Жилось мне в Суре привольно: положение я занимал высокое и всего мне было довольно. Мог я друзей своих поддерживать и приближать, мог врагов обижать и унижать. Но вот потянуло меня в Каир, как тянется к лекарю больной и как тянется щедрый раздавать дары своею рукой. Отбросил я все, что в Суре меня держало, оставаться там заставляло, вскочил на спину сына дороги[207], и поскакал он быстрее, чем страус бежит крепконогий. Много трудностей и опасностей я испытал в пути, не раз мог я гибель свою найти, и конец путешествия меня обрадовал, как радует пьяницу утром чаша вина, а заблудившегося — дорога, которая стала ему видна.

Однажды выехал я на прогулку; мелкой рысцой бежал мой конь по каирским улицам и переулкам. Вдруг я увидел нескольких всадников, подобных светилам в ночных небесах, на славных арабских скакунах. Из любопытства я решил разузнать, кто эти люди и куда они думают путь держать. Сказали мне:

— Эти люди, увенчанные добродетелями, едут на свадьбу свидетелями.

И сразу возникло во мне побуждение попробовать свадебного угощения; вздумал я к едущим примкнуть и с ними пустился в путь. Мы проехали чуть ли не весь Каир и наконец добрались туда, где ожидался пир. Увидел я дом высокий и двор широкий и решил, что

хозяева — люди богатые и тороватые. Спешились мы с коней, желая войти поскорей, и вдруг я вижу: стены передней лохмотья изодранные украшают и торбы нищенские венчают.

Такое убранство показалось мне удивительным, заголовок страницы — сомнительным. Предчувствия мрачные меня охватили и надежду на угощенье убили. Гляжу: человек какой-то сидит в углу на рваном ковре, расстеленном на полу. Я подошел к нему и стал заклинать вершителем судеб людских, гонителем волн морских, чтоб он ответил мне откровенно, чей этот дом необыкновенный. Он сказал:

— Нет у этого дома ни хозяина определенного, ни владельца законного, здесь собираются бродяги и нищие — словом, всякий, кто пристанища ищет.

Вздохнул я о том, что бесцельными были мои старания и напрасны желания. Но стыд не велел мне сразу покинуть дом, куда я добрался с таким трудом. И вошел я в двери, как в клетку заходит птица, — словно пил против воли, боясь подавиться, — и внутри увидел ложа резные, стены и потолки расписные, повсюду ковры расстеленные лежат и шитых подушек длинный ряд. Жених словно лев выступает, слуги и родственники его окружают, потом он садится на подушки, изогнув горделиво стан, словно хирский царь ан-Номан[208]. Один из родственников воззвал:

— Клянусь я семьей Сасана[209], мастера плутовства и обмана, того, кто на свете первый хитрец и для каждого нищего образец! Заключит сей союз благопристойный в день этот светлый и всяких похвал достойный не кто иной, как лучший знаток наших дел, тот, кто в нищенстве вырос и в нищенстве поседел!

Этот выбор вызвал у всех одобрение, снискал всеобщее восхищение. Вот вышел вперед шейх почтенный, согбенный — дни и ночи кости его искривили и цветы его дерева побелили. Все с приветствием бросились шейху навстречу в ожидании мудрой речи, потом затихли из уважения, а старец поднялся на возвышение, уселся, погладил бороду, на подушки облокотился и к присутствующим обратился:

— Хвала Аллаху, отцу благодеяний и щедрых даяний, просящего к себе приближающему, надежды осуществляющему, тому, кто зекат[210] с имуществ установил, а нищих отгонять запретил, кто человеку велел достатком своим с неимущим делиться и кормить

убогого, который просить боится. Он, самый правдивый из говорящих, сказал и в Книге, ясно изложенной[211], рабам своим предписал: «…и тех, у кого в имуществе доля, определенная для просящего и лишенного…»[212]. Восхваляю его за пищу вкусную, которую он даровал для нас, прибегаю к нему за помощью, чтоб он не дал нам услышать отказ.

Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха единого, кто побирающихся награждает,, милостыню увеличивает и ростовщичество запрещает; свидетельствую, что Мухаммед — раб его преданный и любимый и посланник, рабами Аллаха чтимый; послал его бог, чтобы тьму уничтожить светом ярких лучей, чтоб уделить обездоленным из доли гордящихся богачей. Посланник сжалился над бедняками и укрыл покорных своими крылами, он имущих налогами обложил и долг милосердия им разъяснил. Пусть Аллах осенит его благословением, одарит возвышением, к престолу своему приближением!

А дальше скажу: установлено для вас Аллахом супружество, чтоб добродетели вам держаться, плодить потомство и размножаться. Сказал Он — слава Ему! — чтобы вы постигали: «О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной, сделали народами и племенами, чтобы друг друга вы знали!»[213]

Вот Абу Ходил Клянчил ибн Просил, обладатель лица бесстыдного, вранья очевидного, крика и бормотания, приставания и надоедания, в жены берет себе назойливую и шумливую, остроязыкую и бранчливую красавицу Побиралу Умм Прилипалу[214] ради ее привычки к брани и стычке, к делам сомнительным, к местам подозрительным, за то, что к наживе устремляется живо, не предаст, не продаст, в обиду не даст. Чтобы такую невесту добыть, щедрый калым жених готов заплатить: принес он нищенский посох с сумой да битый кувшин с рваной кошмой. В зятья вы его берите и его веревку с вашей свяжите, а коль недостаток вас страшит, то своею щедростью Аллах вас обогатит[215]! Эти слова я произношу и прощенья великого для себя и для вас прошу; молю, пусть Аллах ваш союз от гибели сохранит, потомство даст многочисленное и к тому же делу определит!

Когда старец речь завершил и с родственниками невесты договор заключил, в толпу посыпалось небывалое множество сладостей и монет — щедрость подобную еще не воспел ни один поэт, и будь тут

скряга, скупой не в меру, даже он бы последовал такому примеру! А старец поднялся, волоча свои полы; он пошел впереди всей компании буйной, веселой.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Любопытство опять меня потянуло, за собою маня, — хотелось достойно завершить веселье этого дня. Пошел я за ними к праздничному столу, который от яств ломился, — как видно, повар искусный над ним потрудился. Гости расселись, опережая друг друга, и каждый пустил свои пальцы пастись по цветущему лугу. Я хотел потихоньку встать и от наступающей армии убежать, но старик посмотрел на меня внимательным взором с явным укором и сказал:

— Отчего же ты до поры выходишь из нашей игры, компанию благородную покидаешь, нами пренебрегаешь?

Я сказал:

— Клянусь тем, кто расположил небеса одно над другим и пронизал их светом своим, не возьму я в рот ни куска, не сделаю ни глотка, пока ты не скажешь, откуда ты родом, и где ты рос, и что за ветер в Египет тебя занес.

Услышав мои слова, старец вздохнул глубóко и слезы стал проливать обильным потоком. Когда же слезы иссякли, он умолкнуть всех попросил и во всеуслышанье возгласил:

Мне Серудж — земля родная,
Лучше города не знаю,
Сколько ни бродил по свету —
Не видал богаче края:
Воды слаще Сальсабиля[216]
В сад пустыню превращают,
Люди там, блестя, как звезды,
В горних замках обитают,
Ветры благостные веют,
Ароматы рассыпая;
Снег сойдет — покров цветочный
Землю пышно убирает.
Скажет, кто Серудж увидит:
Здесь порог земного рая!
Плачет, кто Серудж покинет,

Ливнем слезы проливая.
Прогнала меня оттуда
Чужаков жестоких стая,
Я в печали дни и ночи,
И вздыхаю, и рыдаю.
Неотступные заботы
Жалят не переставая,
А надежда где-то медлит,
Поступь у нее кривая.
Как же я отрину козни,
Что судьба мне строит злая?!

Говорит рассказчик:

— Когда он Серудж упомянул и ковер стихов предо мной развернул, понял я — это Абу Зейд со своими друзьями новыми, красноречив, как и прежде, хотя дряхлость сковала его оковами. Я радостно кинулся к нему, позабыв про его проделки, и стал с ним есть из одной тарелки. И потом каждый день к его огню я свой путь устремлял и раковины своих ушей жемчугами слов его наполнял, пока ворон разлуки не прокаркал нам расставание, и было оно словно глаза с веком прощание.

Перевод А. Долининой

Рамлийская макама
(тридцать первая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда во мне молодость бурлила, мешала мне молодая сила в доме своем сидеть, как в гнезде, и я решил побывать везде. Я знал, что странствия опытом полнят душу, домоседство же разум сушит. Поэтому стрелы расспросов повсюду я рассылал, огонь любознательности в себе разжигал и от Аллаха благословения ждал. Наконец тверже камня решимость моя укрепилась и цель утвердилась: задумал я в Сирию путь держать — на побережье торговлю начать. В дорогу далекую пустился я без оглядки и в Рамле[217] разбил наконец палатку.

Но тут же я встретил караван, готовый к ночному пути, — собирались паломники в Мекку идти. И сразу меня охватила страсть в священный город попасть; спешно стал я готовить верблюжью снасть.

Драгоценные камня готов я отдать,
Чтоб у черного камня[218] хоть миг постоять
В безрассудстве меня упрекать не спеши:
Благ телесных дороже блаженство души!

Вот наш караван, словно Млечный Путь, потоком потек, рассекая пустыни грудь. Вел нас вперед наших душ огонь — и каждый спешил, как породистый конь. В пути находились мы и ночью и днем, то скачем быстро, то мерно идем. Вот и аль-Джухфа[219] — пути конец,

услада благочестивых сердец. За удачу мы стали Аллаха благодарить, готовясь на землю святую ступить. Но едва мы сняли поклажу с верблюжьих горбов, как вдруг человек появился из-за холмов, облаченный в ихрам[220] уже на пути, прежде чем до мекканских святынь дойти. Он кричал:

— О люди, идите сюда! Вы услышите то, что спасет в день Суда!..

И все паломники к нему поспешили, тесным кольцом его окружили, приготовившись слушать, лица к нему обратили. Увидев вокруг людское собрание, для которого стал он центром внимания, полуголый паломник на пригорок взошел, откашлялся важно и речь повел:

— О сообщество тех, кто к Мекке спешит, разумеете вы, что вам предстоит? Вполне ли вы сознаете, на что решились, к чему идете? Быть может, вы думаете, что в Мекку хождение — это выбор верблюда и пути прохождение? Или ваших седел подгонка? Иль на спины верблюдов вьюков пригонка? Или вы полагаете, что хаджжа свершение — лишь утомление и тел истощение, от дома родного удаление, с детьми разлучение? Нет, клянусь Аллахом, прежде чем верблюда седлать, грех из помыслов нужно изгнать. Прежде чем к Каабе[221] стопы приблизить, надо свою гордыню унизить. Следует также без рассуждения выказать богу повиновение и, прежде чем в дальний путь пуститься, подумать о том, как с людьми обходиться.

Клянусь тем, кто правила для паломников установил и в темную ночь их на правильный путь устремил, не очистит тех омовение, для кого обычно в грехи погружение, а обнажение тел не искупит преступных дел. Грязный грешник не должен иметь надежды, что сотрет с него грязь белизна одежды, что если изаром он обернется, то от прегрешений своих навек отвернется. Нет, не избавит бритье головы от зла, которое содеяли вы, а стрижка волос[222] не очистит надолго того, кто не чист в исполнении долга. Стояние на горе Арафат[223] помогает лишь тому, кто взоры свои горé обращает! В Мине[224] благословение получает только тот, кто зло на добро меняет, а след Ибрахима[225] узрит лишь тот, кто следуя истине живет. Радость от хаджжа[226] лишь тот обретет, кто людям радеть не устает. Знайте, Аллах к тому милосерден, кто чист и до хаджжа был в вере усерден, кто умел угождением богу усладиться, прежде чем из святого

источника[227] напиться, кто от покровов греха отказался до того, как с одеждой своей расстался, кто на доброе дело был тороват до того, как встать на горе Арафат.

Затем говорящий голос возвысил, так что дрогнули горные выси. Его услышали и глухие, когда он сказал стихи такие:

Ты думаешь, верблюда оседлать
И ночи напролет в пути не спать —
В том хаджжа смысл? Поверь, мой друг, о нет:
Хаджж — это благочестия обет!
Хаджи[228] все страсти должен обуздать —
И к истине святой пути искать.
Ты щедрость к людям прояви, хаджи, —
Просящему ни в чем не откажи!
Условие исполнишь — жди плода,
А нет — и не оставит хаджж следа:
Пожнешь, притворщик, тяготы пути —
Не благо, что в пути хотел найти.
Не снищешь ты награды и хвалы,
А честь твоя не избежит хулы.
Ты с ношей добрых дел, о брат, приди
К тому, с кем ждет нас встреча впереди:
Всевидящ он — и знает наперед,
Кто чист пред ним, кто хитростью живет.
Спеши творить ты добрые дела,
Пока к тебе кончина не пришла:
Коль смерть свою предупредишь добром,
Не станет стук ее нежданным злом.
Будь скромным, даже если, возлюбя,
Судьба венец возложит на тебя.
От каждой тучи ты дождя не жди,
Хоть кажется: вот-вот польют дожди.
Тот мудр, в ком независтлива душа,
Кто дни свои проводит не спеша:
Ведь станет жалким гордый человек,
А резвый — успокоится навек.

Продолжал рассказчик:

— Оплодотворил он бесплодье наших умов волшебными зернами слов, от которых ароматом Абу Зейда тянуло. И тотчас к нему меня потянуло, однако я остановился, подождал, пока он кончил стихи и с холма спустился. В страницы лица его мне хотелось вчитаться и до самой сути его добраться. Подошел я к нему поближе, пригляделся и вижу: это он, Абу Зейд, что слова, как жемчужины, нижет, тот, кого я, как лекарство, ищу и всегда без него грущу. Поспешно шаги к нему направив, я его крепко обнял, как лям обнимает алиф[229], и вместо в Мекку идти предложил, но он отказом меня огорчил, сказав:

— В этом хаджже я дал обет ни с кем не делить обед и в пути ни за кем не идти, спутниками не отягощаться и с лицемерами не общаться.

Затем он, торопясь, от меня убежал, а я его взглядом провожал, взор свой видом его насыщал, горькие вздохи ему вслед посылал. Вот он на песчаном холме остановился — словно в засаде расположился. И когда увидел, что тронулся в путь караван, он в ладоши ударил, как в барабан. И продекламировал:

Сравнится ли едущий в Мекку верхом
С усердным, что хаджж совершает пешком?
Поправший заветы мятежник лихой
Не может сравниться с послушным слугой.
О люди, ужели возможно равнять
Строителя с тем, кто готов разрушать?
Паломник, который в пути не радеет,
Назавтра, беспечный, о том пожалеет.
Блаженство Аллах неземное сулит
Тому, кто добро постоянно творит.
Презри суету и заботы мирские:
Они преходящи, как волны морские.
Лишь вечную пользу преследуй, душа,
А польза земная не стоит гроша.
Внезапен последнего часа приход,
Но помни: тебя неизбежно он ждет.
Свой мерзкий поступок слезами облей
И кровью сердечной — себя не жалей:

Земные проступки раскаяньем смой,
Пока не пришел Азраил[230] за тобой.
Свернешь навсегда ты с дурного пути —
И бог от огня тебя может спасти
В тот день, когда поздно прощенья просить
И грех никаким покаяньем не смыть.

Затем он меч своего красноречия в ножны вложил и по своим делам поспешил. И где бы ни делали мы остановки для водопоя или ночевки, всюду я Абу Зейда искал, но он бесследно пропал. И других я искать Абу Зейда просил, но его будто джинн от нас уносил или прах земли его поглотил… И такую тоску я испытал, какой раньше в пути не знавал! Никогда на чужбине я слез не лил так обильно и не вздыхал так сильно.

Перевод В. Борисова

Тифлисская макама
(тридцать третья)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я рано направил все свои помыслы на постижение божьего промысла — и обет решил Аллаху дать: ни одной молитвы не пропускать. Я думал всегда — и в знойной пустыне, и в праздник, когда веселиться не стыдно, — о времени быстротекущем, всех правоверных к молитве зовущем. Я с радостью в сердце часы встречал, когда муэдзин с минарета кричал, и средь тягот пути не забывал для общенья с Аллахом сделать привал. Когда назначенный час наступал, я на молитвенный коврик ступал, боясь великого прегрешенья — святой молитвы несовершенья.

Однажды в Тифлисе среди бедняков я молился, и, когда весь люд по домам расходился, вдруг пред нами нищий старик явился: паралич лицо его перекосил, был он в ветхой одежде и казался лишенным жизненных сил. Сказал незнакомец:

— Заклинаю вас, благороднорожденных, молоком благочестия вспоенных: на короткое время остановитесь и выслушать мою мысль потрудитесь. А после делайте что хотите: или дарите, или, не одарив, уходите.

И люди откликнулись на зов — расселись пред ним, как гряда холмов. Прочтя на их лицах внимание и к мудрости приобщиться желание, он сказал:

— О обладатели добродетели! О светлого разума владетели! Лицезрение кое-что без слов объяснит, и дым всегда об огне говорит: седину не зачернишь, болезни не утаишь, немощь с тела не смоешь, а

нужду не скроешь. Клянусь Аллахом, и я когда-то людьми управлял, запрещал и повелевал, отнимал и давал, богатством располагал, содействовал и помогал. Чума стороной меня обходила, горе знакомства со мной не сводило. Но одна за другой стали беды являться и в доме моем поселяться. И стало теперь в гнезде моем пусто и в ладони моей не густо. Невзгоды теперь — моя одежда, я на лучшее потерял надежду. Слезами дети мои обливаются, не плодами, а косточками их питаются. Перед вами позор я свой обнажаю и скрытое открываю только после всех бед, которые я испытал, после того, как все потерял, параличным стал. От этих печалей я поседел, и смерть для меня — желанный удел.

Долго и горестно старик вздыхал, а потом слабым голосом продолжал:

К тебе — о Аллах! — возношу упованья:
Доколе терпеть мне такие страданья?
Не в силах я сладить с жестокой судьбою,
Что мне приносила беду за бедою.
Ствол жизни моей раскололо ненастье —
И ветви сломали мне злые несчастья,
В кочевье моем всю траву иссушили,
В мой дом даже крысы дорогу забыли!
Теперь я, покинутый, с бедностью знаюсь,
Богатый когда-то, во всем я нуждаюсь.
Я был словно пальма на знойной дороге,
Сидели под ней и богач и убогий:
Под сенью листвы ее все отдыхали
И сладость плодов с упоеньем вкушали.
А ныне печалей злосчастный я узник:
Судьба изменила мне — бывший союзник.
И кто наслаждался дарами моими,
Презрел тот меня, позабыл даже имя!
Старик к вам взывает больной и голодный:
Найдется ли славный герой благородный,
Который его от напастей избавит,
Потери вернет, положенье исправит?

Продолжал рассказчик:

— Прежде чем старику поверить, люди решили его проверить, задавать вопросы стали ему, чтоб он порастряс перед ними жизни своей суму. Они сказали:

— Речь мы услышали многословную, да не видели дерево родословное. Столь же порода твоя родовита, сколь дождями туча твоя плодовита?

Старик отвернулся в раздражении, будто сказали ему о рождении трех дочерей вместо сына желанного, и он про себя шайтана клянет окаянного. Или стало ему обидно, что великодушия в людях не видно. Потом сказал, сокровенные мысли свои открывая, но голоса не повышая:

Клянусь Аллахом, если сладок плод —
Ему не корень сладость придает.
Вкушая мед, не думай, где пчела,
С каких цветов она его несла.
Из винограда станешь сок давить —
Умей вино и уксус различить.
Их различая, твердо будешь знать,
За что какую цену нужно брать.
Слывущий мудрым потеряет честь,
Когда в его уме изъяны есть.

И так умом своим старик всех восхитил, так красноречием, тонкостью обольстил, такое в речах показал превосходство, что люди забыли его уродство. И тотчас помощь ему предложили: что в карманах нашли, пред ним положили. И сказали:

— Искал ты влагу, а колодец сухой, насытиться жаждал, а улей пустой. Прими наше малое подношение без благодарности и поношения.

Но и малый их дар великим он посчитал и дарящим хвалу воздал. Потом прочь побрел, дороги не разбирая, спотыкаясь о камни, как лошадь слепая.

Продолжал рассказчик:

— Мне показалось, что старик притворяется и нарочно на ходу спотыкается. Я пошел по его следам — хотел во всем убедиться сам. Он посмотрел на меня краем глаза и отвернулся сразу. Но в безлюдном месте старик оживился, с веселым лицом ко мне обратился, в друга искреннего из обманщика превратился. И сказал:

— Я вижу, идешь ты тем же путем. Хочешь и дальше пойдем вдвоем? Не ищешь ли спутника честного и полезного, услужливого и любезного?

Я ответил:

— Спутника такого найти — большую удачу в пути обрести!

Старик воскликнул:

— Ты нашел его — веселись! Искал благородного — с ним рядом держись!

Тут он долгим смехом залился и вмиг от паралича исцелился. Это был Абу Зейд, друг мой любимый, здоровый и невредимый! Я рад был его исцелению, но стал упрекать его, что всех он ввел в заблуждение, однако хитрец меня перебил и так стихами заговорил:

В лохмотьях пришел я, чтоб люди сказали:
«Бедняга!» — и денег мне быстро собрали.
Здоровый болящим не зря притворялся:
Сполна получил он, чего домогался!
Ходил бы голодным в одежде приличной —
Удаче не быть, не ставь я параличным!

Затем сказал:

— В этой стране больше незачем мне оставаться и от жителей ее нечего домогаться. Коли хочешь, компанию составим — двойные следы на дороге оставим!

Потом мы два года вместе блуждали и разлуки не ждали. Я хотел, чтобы так и вся жизнь прошла, но судьба наши пути развела.

Перевод В. Борисова

Забидская макама
(тридцать четвертая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда по дороге в Забид[231] пересекал я пустыни едва проходимые, был со мной мой невольник любимый. Этого юношу вырастил я и воспитал, обучал его и на путь прямой наставлял. Вел он себя примерно, служил мне верно, не ошибался, во всем угождал, желанья мои предупреждал. Не мудрено, что был я привязан к нему всей душой и, куда бы ни ехал, всегда его брал с собой. Но в Забиде губительница-судьба унесла моего раба. Проводил я носилки его погребальные дорогой печальной и целый год ничего не ел и невольника нового брать себе не хотел.

В одиночестве было трудно, тяжко и скудно; захотелось мне вновь обрести покой, и решил я утраченную жемчужину жемчужиной заменить другой. Попросил я забидских работорговцев:

— Подыщите такого, что мне по вкусу придется — пусть он будет красивый, расторопный, красноречивый, из тех, кого благородные люди вскормили и обучили и лишь по бедности с ним расстаться решили.

Они обещали дружно добыть невольника, какого мне нужно: взялись за дело, один другого живее, и клялись отыскать его поскорее. Месяцы шли, друг друга опережая, полнолунья ущербами сменяя, но торговцев я понапрасну ждал: гром их обещаний ливня мне не послал.

Когда я увидел, что просьбы мои забылись или торговцы забывшими их притворились, я подумал: «Не всякий, кто отмеряет

локтями[232], отрезает тоже локтями, и лучше всего чесаться собственными ногтями».

Решил на других я больше не полагаться и сам на рынок стал собираться: приготовил монеты и того и другого цвета[233], пришел на рынок, попросил невольников мне показать и цены назвать. Тут подошел ко мне человек, закутанный покрывалом, которое рот и нос закрывало, юношу он за собой тащил и такие стихи говорил:

Раба ученого купите у меня,
Он взор ласкает, красотой пьяня,
Приказ он понимает с полуслова,
И льется речь его, ручьем звеня.
Хозяину всегда он верен свято:
Велишь — не побоится и огня!
Он вытерпит и холод и лишенья,
Судьбу свою за это не кляня,
Он служит господину бескорыстно
И не седлает лживости коня,
А если ты ему доверишь тайну —
Он умереть готов, ее храня.
В стихах и в прозе равно он искусен,
А в жаркой битве — тверже он кремня!
Клянусь, что, если бы не бедность злая,
Пришедшая, достаток мой сменя,
Его и за богатства всех Хосроев[234]
Не продал бы до Судного я дня!

Говорит рассказчик:

— Когда я увидел стройность юноши, его красоту и лица чистоту, поразило меня его совершенство, показался он мне обитателем сада блаженства[235]. Я сказал себе: «Если он человечьего рода, то несомненно — самой высокой царской породы!»

И спросил у невольника, как его звать, не для того, чтоб имя его узнать, — мне захотелось испытать, будет ли блеск его речи блеску лица под стать и даст ли его произношение уму усладу и утешение. Но

не услышал я от него ни слова — ни горячего, ни холодного, ни благородного, ни простонародного. Я сказал, отвернувшись:

— Что ж в нем хорошего, если он дара речи лишен!

Юноша рассмеялся, гордо тряхнул головой и звонким голосом ответ продекламировал свой:

Хоть я молчал, не разжимая губ,
Ты зря со мной несправедлив и груб!
Ты спрашивал об имена моем?
Изволь: я — Юсуф, Юсуф ибн Якуб[236].
Открыл завесу я перед тобой —
Пойми слова мои, коль ты не глуп.

Говорит рассказчик:

— Стихи его сердце мое растопили и разум пленили. Я заслушался юношу красноречивого и не вспомнил про Юсуфа Правдивого[237], скрытым смыслом стихов не был я озабочен: хотелось мне очень поскорей о цене осведомиться и с хозяином его сговориться. Я думал, что дорого он запросит, потому что юношу так превозносит, и даже был готов заплатить — до того захотелось мне его купить, и я до крайности удивился, что владелец невольника не дорожился. Он сказал:

— Если будет цена невысока и сумма невелика, ты увидишь в этом божье благословение и почувствуешь к юноше расположение. Я хочу, чтоб этот невольник был душе твоей мил, чтоб ты его полюбил. Хочешь двести дирхемов[238] за него отдать — всю жизнь меня будешь добром поминать!

Я деньги с радостью заплатил, считая, что сделку удачную заключил. Но, одетый в легкомыслия платье, я не подумал, что за дешевое всегда мы дорого платим. Время настало расставаться — старику с невольником распрощаться. Ливнем невольник стал слезы лить и хозяина прежнего корить:

Ужели меня продаешь ты сейчас,
Чтоб скудных припасов пополнить запас?!
Ужели твоя справедливость допустит,

Чтоб я от печали и горя угас?!
Измучен я страхом, терзаем тревогой,
И слезы потоками льются из глаз!
Ты часто меня подвергал испытаньям,
Советы мои принимал ты не раз;
Приманкой служил я тебе на охоте
И с крупной добычей являлся подчас;
Опасности мне покорялись послушно —
Тебя ведь не раз я от гибели спас!
Скажи, разве я от войны уклонялся
И не был святым для меня твой приказ?
Я ложь не подмешивал к чаше беседы
И стадо на поле обмана не пас!
Во мне ты не видел грехов и пороков,
И дружба моя — драгоценный алмаз!
А совесть позволит ли друга отбросить,
Как старый и рваный ненужный палас?
Ужель униженья теперь я достоин
И только товаром кажусь я для вас?
И ты почему не сберег моей чести,
Как я сберегаю твой тайный рассказ?
Ты вспомни царей, торговавших Сакаби[239], —
Ведь каждый встречал неизбежный отказ!
Так лошадь ценили! А ты человека
Позорно на рынок привел напоказ!
Скажу я: какого сгубили героя,
Прекрасного духом без всяких прикрас!

Говорит рассказчик:

— Когда хозяин прислушался к его стихам и внял его удивительным словам, стал он так горестно вздыхать, что начали все вокруг рыдать. Потом он сказал:

— Этот невольник мне как родной сынок, словно моего сердца кусок! Если б мой дом не был теперь пустым, если б от очага моего поднимался дым, я бы не выпустил его из гнезда, пока не закатится жизни моей звезда. Видишь, как он кручинится от разлуки, как от горя

кусает руки? Люди благочестивые добры и мягки душой, всегда они выполняют милосердия долг святой. Ради Аллаха, печаль ты мою развей, обещая расторгнуть сделку по первой просьбе моей. Не считай это трудным и не сердись — ведь об этом есть достоверный хадис[240]: «Если кто, раскаявшись, недействительной сделку признает, ошибки его Аллах недействительными считает».

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я дал ему обещание — стыдно было бы отказать, но про себя подумал, что сделку не стану ни за что расторгать. Притянув к себе юношу, старик его крепко поцеловал и, обливаясь слезами, сказал:

Ты терзанья и страхи, мой друг, укроти,
Постарайся душе утешенье найти.
Быть недолго тебе у чужих взаперти —
Не промедлят верблюдицы встречи в пути!
Взор надежды к всевышнему ты обрати!

Потом он добавил:

— Не тужи, хозяина славного тебе я нашел!

Полы свои подобрал и ушел. А у юноши слезы все так же обильным потоком текли, пока старик не скрылся вдали. Когда же невольник от слез утомился и ливень его прекратился, он ко мне обратился и спросил:

— Как ты думаешь, почему я слезы лил?

Я ответил:

— Разлука твоя с господином гореванья и слез причина.

Он возразил:

— Нет, я в одной, ты в другой долине[241]! Разница велика меж оазисом и миражем в пустыне!

Потом продекламировал:

Не о разлуке горько мне рыдать
И не о том, кто мне отец и мать, —
Нет, о глупце, что всем глупцам под стать,
Разумной речи не хотел внимать!
Позора он не сможет взбежать,

Ему пропавших денег не видать!
Иль слов моих не смог ты разгадать?!
Свободный я, нельзя меня продать —
Ведь в имени намек легко понять[242]!

Говорит рассказчик:

— Я сначала подумал, что это веселая шутка, но скоро от речи юноши стало мне жутко: он упорно настаивал на своей правоте и обвинял меня в слепоте. Мы стали сражаться: сначала словами, потом руками, и тогда дело дошло до суда. Судье мы суть дела прояснили и все по порядку изложили. Он сказал:

— В предупреждении — извинение, предостережение влечет за собой снисхождение, а предварение не есть упущение. В его словах было для тебя назидание, ты же не обратил внимания. Глупость свою напоказ не выставляй, лишь самого себя упрекай и этого юношу за невольника не считай: он свободного происхождения, противны ему унижение и принуждение. Я запомнил его лицо: вчера вечером он приходил с отцом, отец его сыном единственным объявил и все наследство за ним закрепил.

Я спросил у судьи:

— А знаешь ли ты отца этого молодца, да опозорит их обоих Аллах и да пошлет им мученья и страх!

Он ответил:

— Кто же из судей Абу Зейда не знает?! Каждого этот шейх донимает!

Я стал призывать на помощь Аллаха и зубами скрипеть с досады, да, видно, думать раньше мне было надо, раньше понять, что его покрывало было лишь хитрой уловкой, стихом плутовской касыды[243], составленной ловко. Опустил я глаза от стыда и поклялся, что с теми, кто скрывает лицо покрывалом, дела не буду иметь никогда. Оплакивал я убытки, горько вздыхая, насмешки друзей своих предвкушая. Сказал судья, видя горе мое и тревогу:

— Успокойся же, ради бога: ты убытком не считай поучение, ведь тот, кто твою осмотрительность пробудил, не совершил преступления. Уроки полезные из этого извлекай, от друзей оплошность свою скрывай, но всегда вспоминай, какое постигло тебя наказание; в твоей

потере — для тебя назидание! Следуй тому, кто в несчастьях проявляет терпение и слушает поучения!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Душу свою в одежды стыда и печали я облачил и полы собственной глупости повлачил. Обиженный Абу Зейдом, решил я с ним навеки порвать и ему при случае об этом сказать. Стал я дом Абу Зейда обходить стороной и к нему поворачиваться спиной, пока не привели меня ноги к встрече с шейхом на узкой дороге. Он по-дружески бросился ко мне с приветом, а я нахмурился и оставил его без ответа. Он спросил:

— Что же ты друзей обижаешь, своим невниманием унижаешь?

Я воскликнул:

— А ты забыл, как ты скверно надо мной подшутил?

Абу Зейд улыбнулся снисходительно и сказал примирительно:

В обращенье твоем на враждебность намеки,
Словно стал я тебе и чужим и далеким,
Оснащаешь ты перьями стрелы укоров,
Истерзает мне душу полет их жестокий.
Мне пеняешь, что вывел я сына на рынок,
Слез фальшивых о нем проливая потоки, —
Я не первый придумал такую продажу,
Не ко мне обращай свои злые упреки:
До меня, ты припомни, потомки Якуба
Брата продали в рабство, они ведь — пророки[244]!
Я клянусь тебе Меккой, куда караваны
Держат путь и паломник спешит одинокий[245],
Я клянусь обходящими Каабу[246] святую,
Чтобы долг перед богом исполнить высокий —
Было б вдоволь дирхемов — не знал бы позора
И не стал бы слагать я обманные строки.
Ты уж друга прости, не читай наставлений —
Не нужны мне, поверь, поведенья уроки.

Затем он сказал:

— Я заслужил снисхождение, а ты своих денег не жди возвращения. Если ты от беседы со мной уклоняешься, потому что за деньги оставшиеся опасаешься, то ведь я не из тех, кто дважды жало свое выпускает и на горящие уголья человека дважды толкает. Ну а если не в этом дело, если скупость тебя одолела и ты мечтаешь спасти то, что попало ко мне в суму, — то пой марсию[247] уму своему!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Он заставил меня уговорами плутовскими и чарами колдовскими на него опять с любовью взглянуть в дружбу ему вернуть, забыть, как он подшутил надо мной, и больше не вспоминать об этой проделке злой.

Перевод А. Долининой

Ширазская макама
(тридцать пятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Бродя по Ширазу[248] как-то раз, я увидел компанию — усладу для глаз. Прохожий мимо не мог пройти, куда б ни спешил на своем пути. И ноги сами понесли меня к ней, чтобы выведать поскорей, где запрятан алмаз ее речей, и чтобы отведать, какие плоды принесут столь прекрасные цветы. Такое собрание где еще встретишь, где столько полезных мыслей приметишь! Показалась мне их беседа отрадной, словно сок хмельной лозы виноградной.

Вдруг смотрим: в общество наше проник какой-то оборванный дряхлый старик. Он приветствовал нас красноречиво, всем поклонился учтиво, сел средь собравшихся, обхватив руками колени, и сказал:

— О Аллах, избавь нас от прегрешений!

Но все глядели на лохмотья его с презрением, забыв полезное поучение: не внешность мужа внушает почтение, а лишь язык в сердце — хоть ростом они малы — достойны хвалы или хулы. Каждый шутил над ним в был готов сжечь сандал его речи вместо дров. Но старик не выдал им ни намеком, с кем они обходились так жестоко: шутникам он дал себя поразвлечь, то, что скрыто внутри, — наружу извлечь, поджидая, чьи весы перетянут и когда опустеют остроумья колчаны. А потом он собравшимся сказал:

— Да если б из вас кто-нибудь знал, что за тканью, которой затянут кувшин, напиток чистый, словно рубин, вы над рубищем нищего бы не глумились, а недолей его огорчились.

И пустил он красноречие биться ключом, утонченные речи его зажурчали ручьем. Слов таких удивительных нигде не сыскать — только золотом можно их записать! Каждое сердце он покорил, каждую печень он растопил, а потом вдруг поднялся, уйти собрался, нас покинуть решил, заспешил. А мы ухватили его за подол, чтобы он не ушел:

— Показал ты нам остроумье свое — стрел остро отточенное острие, так и мудрые мысли твои подари нам — и кожуру их, и сердцевину!

Он, словно обиженный, замолчал, потом вдруг заплакал и зарыдал, так что каждый жалеть его стал. Но я уловил, что в речи своей смешал он и мед и яд — а искусством таким один Абу Зейд богат — и ливень обильный красивых слов он в любую минуту пролить готов. И хоть был перед нами старик безобразный, дурно пахнущий, изможденный и грязный, приглядевшись, я в нем Абу Зейда узнал, но тайну его выдавать не желал и явные козни его, как постыдный недуг, скрывал. Когда же старик перестал рыдать и понял, что смог я его разгадать, заговорил он с легкой усмешкой в глазах, а голос его тонул в притворных слезах:

Прости, Аллах, меня, помилуй —
Снести грехи не хватит силы!
Ах, сколько девственниц-затворниц
Я загубил и свел в могилу!
Никто не мстил мне за убитых,
Родня и пени не просила,
А обвинят меня в злодействе —
Я отвечал: «Судьба сгубила!»
Так я грешил, не зная страха,
Пока душа не поостыла
И волосы мои густые
Оделись сединой унылой.
С тех пор затворниц я не трогал,
Отбросил прочь, что прежде было.
Взгляните, люди, как я беден,
Как тягостен мой рок постылый!
Теперь я сам ращу девицу,

Что всех бы прелестью пленила, —
Затворница, скромна, невинна,
И ей жених сыскался милый.
А чтобы к жениху невеста
Под пение рабынь входила
И чтоб снабдить ее приданым,
Мне б сотни дирхемов[249] хватило.
Увы — в ладонях нет ни фельса[250],
Все реки бедность иссушила!
О, кто мне успокоит сердце,
Заботы смыв целебным мылом?!
Душистой я воздам хвалою,
Что вознесется ввысь, к светилам!

Сказал рассказчик:

— И каждый откликнулся на щедрости зов, потекли к старику потоки даров. Когда он достиг желанной цели и монеты в кошельке его зазвенели, восхвалил он обильно добрых людей и подол подобрал, чтоб уйти поскорей. А я пустился его догонять: хотелось мне разузнать, что за девицу он воспитал и кого это он в молодости убивал. По моей торопливости понял он, каким я желанием увлечен, подошел ко мне и сказал:

— Поймешь ты сейчас, что означал мой рассказ:

Я затворниц губил не мечом, не копьем,
Ведь затворницы эти — бутыли с вином,
И в дому у меня их родная сестра,
Запечатана прочно надежным клеймом.
Деньги брал я — для пира ее снарядить
И по чашам разлить за веселым столом.
Поразмысли о том, что я здесь рассказал,
И суди ты меня справедливым судом!

Потом он сказал:

— Ты муж боязливый и достойный, а я — буян непристойный, и пропасть меж нами такова, что ее не опишут никакие слова!

Так завершив свои признанья, он ускользнул, бросив мне приветный взгляд на прощанье.

Перевод А. Долининой

Саадская макама
(тридцать седьмая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— В Сааду[251] судьба меня привела в те дни, когда строен я был, как стрела, и легко обгонял степного осла. Я зеленью Саады налюбовался, красотам города наудивлялся, а потом спросил обладателей знания, где обитают люди высокою звания, владетели состояния, чтобы во тьме их огнем освещаться, а в минуту тяжелую силой от ниж напитаться. И указали мне люди на кади[252] не только его богатства ради: саадский кади был тамимитом[253], а племя это благородством и щедростью знаменито. Дружбу с кади я вскоре завязал и эхом ответным слов его стал. Я наслаждался медом общения, но нечастыми были мои посещения — боялся я надоесть и вызвать к себе отвращение. Было мне в этом немало прока — стал я в доме кади своим, как Сельман в семействе пророка[254]. Я присутствовал при разбирательстве споров, становился свидетелем раздоров и мир между теми, кто судился, творил: обиженного с обидчиком мирил.

В один из дней, когда кади вершил дела и зала, как улей, полна была, появился оборванный старик, от дряхлости дрожащий, но людей испытующим оком сверлящий. А следом за ним юнец ворвался — он рассерженным львом казался. Старик сказал:

— О Аллах, помоги быть судье справедливым и к правому делу отменно ревнивым! Словно ржавый меч, мой сын упрям, непослушен, будто тупой калам. Что добро, что зло — ему неизвестно, с отцом ему спорить всегда уместно. Я иду вперед — он тянет назад, я объясню — затемнить он рад. Я зажигаю, чтоб сын погасил. С упрямством

бороться нет уже сил. Я растил и учил его с малолетства, а как образумить — не знаю средства. Был я нежнейшим отцом для него, а он не хочет знать ничего.

Жалоба старца судью убедила и такие слова сказать побудила:

— С непослушанием сына мириться — все равно что его лишиться! Чем строптивость детей терпеть, лучше уж вовсе их не иметь.

Тут, как видно, юнец рассердился и ответить поторопился:

— Клянусь тем, кто поставил кади людские дела вершить и суд над ними правый творить, отец жалуется несправедливо: я его слушаюсь терпеливо. Он встанет на коврик — я молитву читаю, он слово скажет — я подтверждаю, он зажжет огонь — я его раздуваю. Но он хочет, чтобы петух яйца нес, а страус в поднебесье себя вознес.

Кади спросил:

— За что же ты так на отца рассердился, что ослушаться его решился?

Невозмутимо ответил юнец:

— Когда вконец обеднел отец, он заставил меня подаянье просить — нищенскую суму носить, чтобы дождь подачек не прекращался и в сладкий шербет для него превращался, чтобы избавить его от лишений и исправить его положение. А раньше, когда начинал он меня учить, все повторял, что честным трудом надо жить, что позорное дело — подачки просить, что жадность — порок, что алчный живет себе не впрок. Послушайте, как он меня поучал, какие стихи сочинял:

Довольствуйся малым, подачек не жди,
Слова благодарности богу тверди!
Ты жадности бойся, ее сторонись —
Достоинство в ней утопить берегись.
Храни свою честь, а не только живот —
Как лев свою гриву всю жизнь бережет.
Терпи все невзгоды, как терпит их тот,
Кто жалобой не оскверняет свой рот.
И даже у тех воздержись ты просить,
Чьи щедрые руки привыкли дарить.
Ведь муж благородный и в горе молчит,

Соринку в глазу ото всех утаит.
С достоинством ветхую джуббу[255] носи —
И лучшего платья не жди, не проси.

Старик на сына хмуро воззрился: он на строптивца все больше сердился. Вдруг строго прикрикнул:

— Замолчи! И костью в горле моем не торчи! Стыдись! Ты хочешь учить свою мать, как надо детей зачинать, и кормилицу обучать, как следует грудь ребенку давать. Скорпиона змея не боится, жеребенку не обогнать кобылицу!..

Но, как видно, тут же раскаялся, что с сыном был так суров, что сказал ему столько обидных слов. Любовь его снова к сыну склонила, взор смягчила, его устами заговорила:

— Знай, сынок, в жизни тот умерен, кто с вечера в завтрашнем дне уверен. Купец не пойдет просить подаяния, как в люди ремесленного звания. А тому, кто в одежду нужды одет, никакой не нужен запрет. Пусть ты истины этой не знал — но зачем же ты отцу возражал?

Неужели разумно всю жизнь голодать
Лишь затем, чтоб хвалу за терпенье снискать?
Погляди ты на мир и пустыню сравни
С зеленеющим садом — они не сродни!
Сторонись, как чумы, наставлений глупцов:
От глупцов, как от палки сухой, нет плодов.
Из жилища беги, где ты жаждущим был,
В край, где ливень обильный твой жар утолил.
Ты ладони под струи дождя подставляй:
Увлажнятся они — за удачу считай.
А сухими останутся — вспомни тотчас:
Хидр и Муса[256] ведь тоже встречали отказ.

Продолжал рассказчик:

— Выслушал кади слова отца и увидел, что у юнца явно расходятся слово и дело. Злоба его закипела, взором строгим на юнца

он глядит и говорит:

— То тамимит он, то он кайсит[257]. Отвратителен тот, кто сам себе возражает, словно гуль[258], обличье свое изменяет!

Сказал тут юнец:

— Клянусь я тем, кто судьей тебя сделал на благо всем, тем клянусь, кто велик и могуч, кто дал тебе в руки к истине ключ, заржавел мой ум от огорчения и память пропала от удручения. Но нет ведь дверей, что настежь раскрыты, где нищий найдет подаяние сытное, не увидишь дома, где рады гостю, где ему подают не по крошке — горстью…

Судья возразил:

— Однако бывает, что стрела шальная в цель попадает. Не в каждом облаке молния зря блистает — иное на них и дождь проливает. Правильно молнии различай, а чего не знаешь — не утверждай!

Старец увидел, что огульное обвинение у кади вызвало раздражение, и решил, что слова его подтвердятся делами — обернутся щедротами и дарами.

И старец взбросил новую сеть, чтобы рыбку поймать и зажарить успеть. Он продекламировал:

Не зря объявлено молвой,
Что тверже Радвы[259] разум твой.
По глупости сказал юнец,
Что щедрости настал конец, —
Не знал он, что твои дары,
Как манна божия, щедры.
Еще раз это докажи,
Чтоб он своей стыдился лжи.
О кади, я хвалу воздам
Твоим делам, твоим дарам.

Продолжал рассказчик:

— Понравились кади слова старика — и полилась подаяний река. Потом он взгляд к юнцу обратил — копьем укоризны его пронзил и спросил:

— Ты понял теперь, сколь порочны твои суждения и лживы твои измышления? Прежде чем деку для лютни тесать, прочность дерева следует испытать. Не кори своего отца и не спеши людей порицать. А впредь проявишь непослушание — заслужишь строгое наказание!

Тут, как видно, юноше стало стыдно. Подошел он к отцу, оказал почтение и покинул собрание без промедления. За ним и старец двинулся следом, такие стихи говоря при этом:

Коль будут вас беды безжалостно гнуть,
К саадскому кади направьте свой путь,
Чья щедрость и предков могла б посрамить,
А праведность будет потомков дивить!

Продолжал рассказчик:

— Мне показалось, что старика я узнал, но тут же сомневаться стал и решил пойти за ним по пятам, далеко ли, близко ли — я не знал еще сам; быть может, раскрою его секреты и узнаю, каким огнем речи его согреты. Бросил я все свои дела — за старцем дорога меня увела. Он быстро шагает, а я за ним, желанием неотступным гоним. Наконец я догнал его, наши взоры скрестились — вмиг охотник и дичь в друзей обратились. Старик мне радостно руку жал и даже при этом совсем не дрожал! Он сказал:

— Друзьями нужно дорожить, кто друга обманет — тому не жить!

И я убедился, что рядом со мной — серуджиец, никто иной. Бросился я его обнимать, о хорошем, плохом поспешил разузнать. Но старик отвечать не пожелал и на сына лишь показал:

— Меня рассказывать не проси, обо всем у него расспроси.

А юнец рассмеялся мне в лицо и следом пошел за отцом.

Это были знакомцы мои, спору нет, но где теперь отыскать их след!

Перевод В. Борисова

Мервская макама
(тридцать восьмая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— С тех пор как стали дороги тянуться к моим ногам и чернила стал извергать мой калам[260], полюбил я полезные изречения и истории назидательные, поучительные рассказы разыскивать стал старательно, из источника мудрости их я стремился напиться, как путник ночной к огню стремится. А владельцев адаба[261] когда я отыскивал, то удерживал их за стремя и зекат[262] с их сокровищ взыскивал, но такого, как серуджиец, я не видал и никогда не встречал, у кого бы из туч ливень лился сильнее и кто бы смолу клал на дырки точнее. Однако он был непоседлив, словно месяц на небесах, и подвижен, словно пословица, что у всех на устах. Меня манил его красноречия свет и привлекала тонкость его бесед — ради них часто родину я покидал, а тяготы путешествия сладостными считал.

Однажды во время странствий решил я в Мерве[263] остановиться — свидание с Абу Зейдом мне предсказали птицы[264]. Искал я его на рынках и на майданах[265], путешественников расспрашивал в ханах[266], да никак не мог я напасть на след: кого ни спрашивал — нет как нет! Наконец отчаяние победило желание и надежду сменило разочарование.

Как-то раз посетил я мервского вали[267] — а он был из тех, в ком власть и богатство благородства не затмевали. И вдруг появился Абу Зейд, в рубище нищенское одетый, а на лице его — лишений приметы.

Он приветствовал вали, как бедняк, что пред владыкой заискивает и его благосклонность снискивает. Затем он сказал:

— Да избавит Аллах тебя от порицания, да исполнит твои желания! Знай: на кого дела возлагаются, к тому упования устремляются, а кто заслужил превозношения, к тому возносят прощения. Счастлив тот, кто, видя судьбы благосклонность, питает к благодеяниям склонность, отчисляя зекат с обильных благ в пользу того, кто сир и наг. И блажен, кто возлагает на себя ублажение всех, достойных его уважения. Ты гордость времени, города ты опора, к тебе с надеждой обращаются взоры, и к дверям твоим тянутся караваны, привлеченные щедростью благоуханной. Просьба любая в доме твоем оседает, и к людям покой с ладоней твоих стекает; Аллаха великая милость тебя осеняет и твои закрома наполняет.

Посмотри на меня, несчастного старика: участь моя горька. Было время — ветви мои зеленели и плоды на них обильные зрели, а когда запылала моя голова сединой[268] — встали беды у меня за спиной. Пришел я к тебе из страны далекой, сраженный нуждою жестокой, мечтая, что меня напитает море твое полноводное и возвысит покровительство твое благородное.

Надежда просителя согревает и дарителю помогает. Пусть подскажет тебе божий страх обойтись со мною, как с тобой обошелся Аллах, дать мне то, что я заслужил по праву и тем приумножить твоей добродетели славу. Не отворачивай свой светлый лик от бедняка, что в собранье твое проник, и пусть ладонь твоя не сжимается для того, кто с мольбой к тебе обращается и поддержки просить решается.

Жадный любви не дождется, скупому купить себе славу не удается. Нет, умен только тот, кто щедро добычу свою раздает и если одаривать начинает, то град даров своих не прекращает. А поистине благороден лишь тот, у кого из рук поток золотой течет, от кого ты ни разу не услышишь отказа.

Тут Абу Зейд замолчал, присмирев, надеясь, что щедрые всходы даст его обильный посев. Вали тоже молчал — он поджидал: польется еще вода или весь источник старик исчерпал и даст ли искры его огниво, разжигая огонь ушам и умам на диво. Абу Зейд не понял причины его молчания и замедления подаяния. Заговорил он, гневом пылая, на ходу стихи сочиняя:

Не презри мудреца за то, что босиком
Явился он к тебе голодным бедняком!
Согбенного нуждой надежды не лишай —
Молчит он пред тобой иль остр он языком.
Просителю прости назойливость мольбы,
Того, кто смят бедой, одаривай добром.
Ведь пользу лишь тогда богатство принесет,
Коль славою оно тебе украсит дом.
Кто славу покупал за щедрые дары,
В убытке никогда тот не бывал потом.
И умному простят стяжанье благ земных,
Коль щедростью своей к богатству он влеком.
Стремясь творить добро, прими высокий сан —
Так славу обретешь ты собственным трудом,
И во сто крат сильней, чем амбры аромат,
Хвала свой аромат распространит кругом.
Но скупость никогда не встретится с хвалой,
Как страусу вовек не встретиться с китом[269].
Да, кто раскрыл ладонь — снискал любовь людей,
Но добрых слов никто не скажет о скупом!
Скупец найдет предлог подарка избежать,
За то клянут его и поминают злом.
Убогому блага без счета расточай —
Пусть будет он смущен даров твоих дождем.
И торопись, пока превратности времен
Не изогнут тебя уродливым крючком.
У каждого из нас изменчива судьба,
Ей долго не бывать в обличий одном.

— Прекрасно! — воскликнул вали, когда Абу Зейд замолчал наконец. — Теперь скажи, откуда ты родом и кто твой отец.

Абу Зейд прищурился с легкой насмешкой и ответил стихами, ни минуты не мешкая:

Об отце не пытай — мужа ты испытай,
А потом прогони иль наперсником сделай.

Если сладко вино — то не все ли равно,
Что отцом его был виноград недозрелый?

Сказал рассказчик:

— Его красноречия небывалая сила вали вконец покорила. Растрогался он старика печальной судьбой и, как близкого родственника, усадил его рядом с собой. Потом казначея в сокровищницу послал и столько подарков принести приказал, чтобы отныне гордо влачился длинный подол старика, чтобы ночь без забот показалась ему коротка. И ушел Абу Зейд с набитой мошной и веселой душой. Вышел я за ним по пятам и пошел по его следам. Ушли мы из дома вали туда, где чужие нас не видали и не слыхали. И тогда я сказал:

— Удача сопутствует тебе: наградил тебя вали дарами, вняв твоей слезной мольбе.

Абу Зейд просветлел и просиял, Аллаху всевышнему пышно хвалу воздал, и, плечи с достоинством распрямляя, сказал он, гордости своей не скрывая:

Кто успех оплатил благородством родителей,
Кто — делами, которыми хвастаться нечего;
Мне ж успех подарили не предков достоинства,
А ученость моя и мое красноречие!

И добавил:

— Горе тому, кто с адабом незнаком, и достоин похвал, кто его добывает упорным трудом. Так, возбудив во мне восхищение, он ушел и покинул меня в огне огорчения.

Перевод А. Долининой

Оманская макама
(тридцать девятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— С тех пор как щеки мне покрыл пушок и стал кудрявиться мой лобок, возымел я к странствиям неодолимую страсть, в далекие страны мне захотелось попасть. По степям и пустыням, не слезая с верблюжьей спины, в долины спускаясь и поднимаясь вверх, на холмы, готов был без устали ездить я от жилища к жилищу и от пепелища к пепелищу, посещая места известные и глухие, на пути встречая источники свежие и колодцы сухие, устремляясь в дорогу вновь и вновь, пока ноги махрийских верблюдов[270] не стопчутся в кровь и пока не сотрутся копыта быстрых коней, истомленных усталостью долгих путей.

Наконец надоело мне по пустыням скакать — я задумал Оман[271] повидать. Выбрал я надежный корабль, погрузил на него припасы: тюки с товарами, дорожные сумы, воды и пищи запасы; с тревогой в душе взошел на корабль, в неразумии себя упрекая, Аллаха моля о спасении и обеты ему давая.

Тьма ночная окутала небеса; мы приготовились поднять якоря и поставили паруса. Но неожиданно наших ушей достиг с берега громкий крик:

— О вы, идущие в море со страхом или без страха согласно воле Аллаха! Хотите я буду вашим проводником и поведу вас верным путем, от опасностей оберегая, от мучений дорожных избавляя?!

Мы ответили:

— Хорошо, пусть сияние твоих знаний светит нам впереди, как верный друг, нас верным путем веди!

Незнакомец спросил:

— Возьмете ли вы попутчика, не обремененного грузом тяжелым, но наделенного нравом веселым? Займет он места немного, а в его пропитании положитесь на бога.

Мы решили, что просьба для нас легка и не жаль нам куска для проводника. Он же, взойдя на корабль, возопил:

— О всевышний, сей корабль от бед сбереги, от опасностей в бурных морях нам помоги! Доводилось мне слышать от ученых мужей, что всевышний в премудрости своей именует невеждами не тех, кто знаний не получил, а тех, кто незнающих плохо учил.

Известно нам от пророков заклинанье чудесной силы, многих оно спасло от могилы. Заклинание это я не стану от вас скрывать — не в моих привычках молчать. А вы словам моим усердно внимайте, хорошенько запоминайте, поступайте согласно заветам пророков святых и учите тому же других. Заклинанье сие — талисман отплывающих в море, охраняет владеющих им от погибели в бурном просторе. В дни потопа владел им наш праотец Ной[272] — так он жизнь сохранил и себе и животным, которых он взял с собой. В истории этой нет ни слова обмана, чему свидетельством служит известная сура Корана[273].

Вслед за историей Ноя поведал наш спутник речистый много других историй, затейливых и цветистых. И словами всевышнего закончил ловко: «Плывите в нем, во имя Аллаха его движение и остановка»[274].

А потом, вздохнув глубоко, как влюбленный, страстью своей утомленный, или верующий, в молитве склоненный, он сказал:

— По воле господней корабль я буду вести, от бед охранять в пути и помогать вам полезным советом — Аллах мне свидетель в этом!

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Все внимали ему, восхищенные, красноречием упоенные, а сердце мое наконец подсказало разгадку того, что тьма ночная скрывала. Я сказал:

— Заклинаю тебя Аллахом, который любой обман обнаружит, — признайся, ведь ты Абу Зейд ас-Серуджи?

Он ответил:

— Ты прав, нетрудно было о том догадаться — ведь за тучами солнце не может долго скрываться.

Свет радости душу мою озарил, я счастливый случай благословил. Надул паруса нам попутный ветер, и в море вышли мы на рассвете. С ясного неба солнце светило приветно, и время в пути бежало для нас незаметно. Другу старому был я так рад, словно в руки попал мне несметный клад. Как жаждущий, который не может напиться, я не мог с Абу Зейдом наговориться.

Вдруг ветер неистовый налетел, и сразу над нами небосвод потемнел. Высокие волны стали в борта ударяться с размаху, спутники наши потеряли память со страху. Спеша укрыться от страшной бури, корабль мы к острову повернули: со стихией в спор мы не хотели вступать и решили на суше попутного ветра ждать.

Буря долго не унималась; ни еды, ни воды у нас не осталось. Голод плавателям грозил. И тогда Абу Зейд предложил:

— Если будем недвижно сидеть у воды, не высидим ни крошки еды. Не лучше ль в глубь острова нам пойти, счастья с тобой попытать в пути?

Я ответил:

— С тобою пойду я всюду, верной тенью шагать по стопам твоим буду, терпелив и покорен, как подошвы сандалий, но душу живую здесь мы встретим едва ли.

По острову долго мы блуждали, надежду совсем уже потеряли, от жажды и голода истомились и от усталости с ног валились. Как вдруг увидели перед собой высокий дворец, окруженный стеной. В стене ворота железа литого, а в воротах рабы стоят и глядят сурово.

Приходится путь по лестнице снизу всегда начинать; без веревки воды из колодца никому не достать — вот и мы, чтобы попасть к господам, обратились сначала к рабам, а они печальны, удручены, словно тяжкой болезнью больны. Спросили мы юношей о причине печали, но они упорно молчали, в ответ не промолвили ни слова, ни хорошего, ни дурного. Мы подумали: «Может быть, это мираж, манящий издалека? Может быть, мы за пламя костра приняли огонек светляка?» И сказали:

— Проклятье на головы наглецов, вместо ответа свои языки жующих, и проклятье на головы глупцов, вопросы им задающих!

Тут вышел вперед один из них, с виду постарше остальных, и промолвил:

— О люди, не следует нас порицать и упреками осыпать, ибо в горе глубоком мы пребываем и вокруг ничего не замечаем.

Абу Зейд сказал ему:

— Петлю печали, стянувшую горло, ослабь поскорей, горе свое словами излей. Во мне ты найдешь врачевателя, сведущего во многих делах, прорицателя опытного, читающего в умах и сердцах.

Тогда страж рассказал:

— Знай, что этого замка владыка — повелитель сих мест и государь великий — много лет в огорчении пребывал: лучших девушек острова в жены он брал, но Аллах ему сына не посылал. Наконец одна из царских жен понесла, стройная пальма побег дала. Надежда в душе царя зародилась; стал он дни и часы считать, моля, чтобы время поторопилось. Но когда наступил желанный срок, снова бедою грозит нам рок: роженицу страшная боль терзает, ни на мгновенье не утихает, а разродиться она не может — вот почему нас отчаянье гложет. Боимся мы и за мать и за плод, а как помочь — никто не поймет.

Тут разразился он громким рыданьем и произнес с глубоким страданьем:

— Все мы Аллаху принадлежим, все в его лоно вернуться должны.

Абу Зейд воскликнул:

— Утри свои слезы и выслушай весть благую — вашему горю с радостью помогу я. Знаю я одно заклинанье, оно облегчает роды; много раз я его испытывал за долгие годы.

Побежали рабы к своему господину гурьбой, спеша поделиться вестью благой, тут же вернулись, нас во дворец позвали, и мы с Абу Зейдом перед царем предстали. Почтительно мы поклонились царю. Он сказал Абу Зейду:

— Я богато тебя одарю, если поможет твое заклинание: сохранит младенца и жене облегчит страдания.

Абу Зейд даром времени не терял: калам[275] заточенный принести приказал, пенку — белый камень морской, чашу, полную розовой водой, а к ней примешать шафрана толченого для успеха заклинанья ученого. Не успел он дух перевести, как рабы поспешили все принести. Абу Зейд опустился на колени; уткнувшись в землю лицом,

Аллаха молил о прощении; затем всех присутствующих удалил и к заклинанию приступил: взял в руки калам, засучил рукава и шафраном на белом камне начертал такие слова:

О младенец во чреве, прими мой совет:
Ты в надежном убежище, сыт и согрет,
Ты не ведаешь страха, не знаешь тревог,
Ни другой, ни врагов у тебя еще нет.
Но удары судьбы поджидают тебя,
Только стоит тебе появиться на свет.
От жестокого мира пощады не жди —
Ты увидишь, что полон он горя и бед,
И прозрения горечь тебя напоит,
Ты заплачешь в предчувствии тягостных лет.
Нет, спокойную жизнь не спеши покидать,
Ты дремли, оболочкой надежной одет.
Если манит лукавый обманщик тебя
Выйти в мир треволнений из сладких тенет —
Берегись, соблазнителю ты не внимай,
Знай: молчанье твое — самый лучший ответ,
Наставление мудро мое, но — увы —
Вызывает сомненья и добрый совет!

Присыпав написанное песком, обернул он камень шелковым лоскутком, сто раз кряду на него поплевал, амброй попрыскал и приказал роженице к ляжке амулет прививать и появленья младенца ждать.

Едва мы успели глазом моргнуть и глубоко вздохнуть, как младенец явился на свет, презрев Абу Зейда добрый совет. Помогло, как видно, ему заклинание, и дворец наполнился ликованием. Абу Зейда все обступают, со всех сторон за одежду хватают: все хотят, чтоб на них снизошла благодать, поэтому каждый стремится за полу его подержать и руку ему поцеловать — словно он сподвижник пророка Увейс[276] или эмир Дубейс[277]. На него подарки сыплются градом, царь готов отдать всю казну в награду. Накрыла удача Абу Зейда своим плащом, в миг единый он сделался богачом.

Тем временем буря утихла и успокоилось море, продолжить свой путь в Оман нам предстояло вскоре. Абу Зейд, довольный дарами, в отплытью готовился вместе с вами. Но царь, искусством его плененный, его талантами восхищенный, и мысли не хотел допустить такого искусника отпустить. Абу Зейд стал царю как брат родной и распоряжаться мог царской казной.

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Видя, что Абу Зейда прельщают щедроты царя, я стая укорять его, говоря, неужели он родину отринет и друзей любимых покинет.

Абу Зейд мне ответил:

— Друга не спеши упрекать, дай ему прежде слово сказать.

И продекламировал такие стихи:

К чему тосковать о родине, где был ты всего лишен?
Беги оттуда, где низкий превыше всех вознесен.
Приют отыщи надежный, пусть будет он отдален, —
Достойно ль там оставаться, где всеми ты притеснен?
Считай своей родиной место, где ты от зла защищен,
И брось вспоминать о крае, где был когда-то рожден.
Ведь всякий, свободный духом, в отечестве ущемлен, —
Жемчужина средь песчинок, затерян, не оценен.

Потом добавил:

— Я пред тобой оправдался. О, если б и ты со мною остался!

Однако я поспешил отказаться, и с Абу Зейдом мне пришлось расстаться. Мы попросили друг у друга прощенья за невольные прегрешенья и перед разлукой, как братья, заключили друг друга в объятья. Всем потребным он снабдил нас в дорогу, но в сердце моем посеял печаль в тревогу. И когда пришла нам пора проститься, я подумал: пусть бы лучше погибли и младенец и роженица!

Перевод В. Кирпиченко

Тебризская макама *(сороковая)*

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Помню, когда-то жил я в Тебризе[278] весело и богато. Но недолго длились счастливые дни — днями трудными сменились они. Ветер злосчастий всех раскидал, друзей, покровителей я растерял и решился с Тебризом проститься, в странствия вновь пуститься. Стал я что нужно в путь запасать да попутчиков верных искать. Как вдруг Абу Зейд идет мне прямо навстречу, рваный плащ накинув на плечи, а вокруг него — женщины огромной толпой, словно стадо верблюдиц, спешащих на водопой.

Друга стал я расспрашивать, что случилось, уж не беда ли с ним приключилась, давно ль он в Тебризе, куда идет и почему за собой такую ораву ведет. На одну из спутниц, идущую рядом, с красивым лицом и со злобным взглядом, Абу Зейд указал и сказал:

— Я взял ее в жены, чтобы грязь холостяцкую она с меня смыла, чтобы нежною лаской жизнь мою усладила. Но взвалил я на плечи непосильную ношу — весь в поту, задыхаюсь, вот-вот ее сброшу. Нрава злее, чем у нее, в целом мире не сыщешь, коварнее женщины не отыщешь. Супружеских прав моих она признавать не желает, а чтобы алчность ее утолить, доходов моих не хватает. Я устал от нее, как от тяжкой работы, вместо покоя она принесла мне одни заботы. Мы теперь к городскому кади[279] идем, у него-то уж мы справедливость найдем: пусть он или помирит нас, или даст нам развод тотчас.

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Тут любопытство мое разгорелось: кто из них верх возьмет, мне узнать захотелось. На сборы махнул я рукой и пошел за супругами, хоть и прок в этом был небольшой. Вот мы явились к тебризскому кади в дом, а этого кади молва называла великим скупцом — из тех, кто никогда не решится даже добычей своей зубочистки с тобой поделиться. Абу Зейд колена перед судьей преклонил и во всеуслышание возгласил:

— Да будет милостив к нашему кади Аллах и да пошлет ему щедрот своих в успеха в делах! Знай, что эта верблюдица не хочет узды признавать, упрямится, в сторону норовит убежать. Я же покорней ей, чем пальцы рук, и в обхожденье — самый сердечный супруг.

Кади сказал:

— Негодница! Мужу непослушание требует строгого наказания! Если ты его прогневила, то побои жестокие заслужила!

Женщина ответила:

— Пусть судья досточтимый знает, что муж мой целые дни на задворках где-то гуляет, меня в одиночестве оставляет и меня же потом обвиняет!

Обратив к Абу Зейду суровый взор, кади воскликнул:

— Какой позор! Верна посеяв в пустыне, ты ждешь урожая или хочешь цыплят получить, на камни наседку сажая! Скорей уходи! Нет для тебя прощения! Ты вызываешь во мне отвращение!

Абу Зейд завопил:

— Свидетелем мне Аллах, эта женщина лживей, чем Саджах[280]!

Жена его в ответ закричала:

— Лживей, чем он, я еще никого не встречала! Клянусь дорóгой к Мекканскому храму, он превосходит лживостью лжепророка Абу Сумаму[281]!

Гнев Абу Зейда ярким пламенем запылал; рассердись на жену, такую он речь сказал:

— Стыдись, распутница, вонючая лужа, отрава соседа, горе для мужа! Когда мы одни, ты меня терзаешь, а перед людьми во лжи обвиняешь. Вспомни, когда тебя к мужу ввели[282] — о, как люди меня обмануть могли! — обезьяны ты была безобразней, чумы заразней, зловоннее мертвечины, жестче старой овчины, риджля[283] глупее, сухой мочалки грубее, подстилки в хлеву грязнее, зимних ночей

холоднее, голее кожуры граната и шире устья Тигра и Евфрата! Все грехи я твои прикрыл, в тайне твой позор сохранил!

Но даже если б с тобой поделилась Ширин[284] красотой, а Зебба[285] — власти своей полнотой, приданым бы поделилась Буран[286], а троном — Балкис, чьим мужем был царь Сулейман[287], будь ты, словно Зубейда[288], богата, красноречива, как аль-Ханса, оплакивающая брата[289], будь, как Рабиа[290], благочестива, как мать корейшитов[291], горделива, — все равно я тобою бы погнушался, седлом своим сделать бы тебя отказался, не пустил бы к тебе и своего жеребца — клянусь всемогуществом творца!

Тут женщина разозлилась, рукава засучила, к Абу Зейду в ярости подскочила:

— Ах ты, который Мадира[292] гнуснее, жалкой блохи грязнее, гиены трусливей, ворона злоречивей! Ты язык наточил, как острый нож, режешь честь мою — а сам-то хорош! Ты ослицы Абу Дуламы[293] сквернее, клопа-кровопийцы вреднее, обрезка ногтя невидней, порчи воздуха в собранье постыдней!

Даже если б у Хасана[294] проповедовать ты научился, если б аш-Шааби[295] ученостью с тобой поделился, если бы, как Джарир[296], ты прославился сочиненьем сатир, если б в поэтике ты превзошел аль-Халиля[297], если бы Абд аль-Хамида[298] затмил красотою стиля, если бы наподобие Кусса[299] овладел ты ораторским искусством, знал бы, как Абу Амр[300], грамматику и правила чтения или, словно аль-Асмаи[301], отдавал бы поэзии предпочтение, — то и тогда бы, клянусь Кораном, в моей мечети ты бы не стал имамом[302]. Нет, мечом в моих ножнах тебе не бывать, даже привратником у дверей моих не стоять! Клянусь Аллахом, не пригоден ты ни к чему, не можешь служить даже палкой, чтоб повесить суму!

Обоих выслушав, сказал им судья:

— Друг друга вы стоите, вижу я. Волчица и коршун — отличная пара! И ни к чему вам бесплодная свара. Оставь-ка, муж, свою злость поскорей, не ищи ты к дому окольных путей. А ты, жена, не бранись, поласковей мужа встречай да пошире дверь перед ним отворяй.

Сказала женщина:

— Клянусь Аллахом, лишь тогда я закрою рот на замок, когда он оденет меня с головы до ног. А чтобы покорность мою заслужить,

должен он голод мой утолить.

Абу Зейд троекратно поклялся в том, что все его достоянье — рваный плащ, что на нем. Проницательным оком на супругов судья взглянул, острым умом кое-что смекнул, сурово нахмурясь, недовольство свое показал, потом сказал:

— Вам мало того, как видно, что перед судом вели вы себя бесстыдно, не стесняясь, друг друга бранили и, греха не боясь, друг на друга помои лили. Вы хотите еще меня провести, вокруг пальца надеетесь обвести. Но клянусь, мимо цели вы стрелы метали и напрасно за простака меня принимали. Повелитель верующих — да продлит его дни Аллах и да повергнет врагов его в прах — поставил меня споры тяжущихся судить, не долги их взаимные платить. Клянусь его милостью, даровавшей мне судейское звание, право суд вершить и налагать наказание, если вы не раскроете мне свои тайные козни и не признаетесь, в чем секрет вашей розни, то позор всенародный будет вам наказаньем, чтобы пример ваш постыдный всем послужил назиданьем.

Абу Зейд взор потупил, коварство тая, и промолвил:

— Слушай меня, судья:

Я — Абу Зейд ас-Серуджи, а это — моя жена.
Поверь мне, что с солнцем рядом стать может только луна.
Красой и нравом веселым — всем щедро наделена,
В свой храм моего монаха всегда впускает она.
И жажду мою утоляет только она одна,
Один лишь знаю источник, его лишь вода вкусна.
Но вот уж почти неделю мы ночи проводим без сна.
Взгляни на жену — ты видишь, она худа и бледна,
И я причины не скрою — давно уж она голодна.
Мы долго терпели, но силы теперь истощились до дна.
И вот мы придумали хитрость — недаром жена умна, —
На щедрость того уповаем, чья не скудеет казна.
В том, что бедны мы, право, беда наша, не вина.
Униженно голову клонит тот, чья печь холодна,
А честного в платье плута рядит пустая мошна.
Вот наша печальная тайна стала тебе ясна.
Суди нас теперь, о кади, подсказка тебе не нужна,

Казнить ты и миловать волен, на то тебе власть дана.

Тут кади воскликнул:

— Отряхни заботы с твоей души и утешиться поспеши. Ты не только заслуживаешь прощенья, но и за беды твои достойного возмещенья. При этих словах жена возмутилась и, к свидетелям обратись, на судью напустилась:

О жители Тебриза, в целом свете
Судьи достойней, право, не сыскать,
В нем нет пороков, даже самых малых,
Коль одного порока не считать —
Что поровну делить он не умеет,
Привыкши долю львиную хватать.
Ведь мы вдвоем пришли к нему, желая
Плодов заветных с дерева сорвать.
И что же? Старика он награждает,
Готов и похвалить и приласкать,
Мне ж ожидать хвалы или награды —
Ну словно дождика в июле ждать!
А между тем все это представленье
Я старика подбила разыграть,
И если захочу, то может кади
Посмешищем всего Тебриза стать!

Когда кади увидел, что эти двое на все способны, а языки их бритвам подобны, он понял, что они опаснее всякой заразы и могут навлечь на него все беды сразу, ибо отпустить одного с дарами, а другого с пустыми руками все равно что с долгами расплачиваться долгами или, молитву творя в час заката, совершать вместо трех лишь два ракята[303]. Кади нахмурился и зажмурился, насупился и потупился, забормотал невнятно, заговорил непонятно, кляня судейскую должность злосчастную и судьбу, ему неподвластную, и все несчастья, что на него навалились, словно бы сговорились Вздохнувши

тяжко, словно он все добро свое потерял, кади, как женщина, зарыдал и сказал:

— Неужели не удивляет вас, что две стрелы меня одного поразили зараз? Видано ли, чтоб за одно и то же плату требовать дважды? Разве напасешься воды на всех, кто страдает от жажды?

Затем он обратился к привратнику, у двери стоявшему и все приказания его выполнявшему, и сказал:

— Это день испытания, день страдания! Клянусь, злополучней я не видывал дня: нынче не я сужу, а судят меня. Не я справедливый налог налагаю, а с меня ни за что ни про что мзду взимают. Избавь ты меня от них, болтунов безбожных, парой динаров[304] им глотки заткни понадежней, а после того выставь их за порог да двери запри на замок. Всем скажи, что судья нынче занят, жалобщиков не принимает; пусть ко мне никто не приходит и тяжбами не донимает.

Привратник от жалости к господину тоже всплакнул, рукавом со щеки слезу смахнул, вручил Абу Зейду и его жене по динару и сказал, выпроваживая достойную пару:

— Готов засвидетельствовать, вы двое хитрей всех живущих на свете, даже джиннов, не только людей! Однако советую вам суды уважать и язык свой в узде держать. Ведь не всякий на тебризского кади похож и не всюду любителей стихотворства найдешь!

Супруги привратника поблагодарили, совет его по достоинству оценили и удалились, добыче рады, оставив кади, снедаемого досадой.

Перевод В. Кирпиченко

Тиннисская макама
(сорок первая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— В расцвете молодости моей был я послушен голосу пылких страстей, с красавицами прельстительными знался, щебетаньем их нежным наслаждался. Но вот на висках появились гонцы седины, предвещая конец весны. Время я стал проводить в праведных размышлениях и раскаялся в прежних заблуждениях.

Как отставший от каравана подгоняет верблюда, стал я добро творить всегда и повсюду, надеясь упущенное наверстать, пока мой срок не пришел перед Аллахом предстать. Веселых красавиц, средь которых я провел расцвет своих дней, заменило мне общество достопочтенных мужей. Раньше мой дом посещали танцовщицы и певицы, ныне — одни лишь благочестивцы. Дал я обет общаться только с людьми достойными, добродетельными и благопристойными, с теми лишь, чьи прегрешения после раскаяния преданы были забвению. А при встрече с распутником нечестивым, что, закусив удила, несется по жизни ретиво и, устав от ночных похождений, спит целый день в предвкушении новых бдений, я как можно дальше спешил от него отстраниться, чтобы он позором своим не мог со мной поделиться.

Однажды, спустившись по Нилу вниз, попал я в город Тиннис[305]. В мечеть городскую, что приветливым видом манит, зашел я, гляжу: посреди проповедник стоит, окруженный плотным кольцом людей, с него не сводящих очей. А в словах проповедника твердость духа слышна и мудрость великая заключена:

— Несчастен сын Адама, сколь несчастен! Ведь над судьбой своею он не властен. Опоры твердой у него под ногами нету, пылинкою кружится он по свету. Зарезан не ножом — любовью к миру, отдал он душу ложному кумиру. Богатство копит ради похвальбы, о деньгах мысли все его и все мольбы. Клянусь я твердь от воды отделившим, солнце и луну сотворившим, когда бы разумней был сын Адама, он бы избегнул этого срама, задумался бы над тем, что ждет впереди, и стеснилось бы сердце в его груди, он вспомнил бы о расплате неминучей и слезою бы умылся горючей. Воистину удивления достоин тот, кто в адское пламя прямо идет, золото и серебро собирая и добром сундуки набивая. Но, право, еще удивительней тот, кто не видит, что близок расчет, кому облака седины, наплывая, закат его солнца предрекают, а он думать не хочет о спасении и прегрешений мерзостных искуплении.

И дабы подкрепить увещевание, шейх прочитал стихи в назидание:

Горе тому, у кого голова поседела,
Он же в плену обольщений греховных живет,
В суетном вихре кружится, не зная предела,
Хоть от бессилья уже головою трясет.
Скачет он яростно на скакуне наслажденья,
Не опасаясь нисколько, что в грязь упадет.
Не вызывают седины его уваженья,
Если, беспечный, он сам свою честь не блюдет.
Милости божьей за гробом такой не дождется —
Да и земное его пребыванье не в счет:
Ведь от него, хоть над смертью он дерзко смеется,
Как от покойника, тленом могильным несет.
Если ты жаждешь оказывать благодеянья,
Молви тому, кого бремя порока гнетет:
«Кайся всем сердцем, поверь — лишь одно покаянье
Черные пятна с плаща твоей чести сотрет».

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда старик закончил увещевания и замолкли его причитания, вышел вперед юноша рослый, совсем уже взрослый, в лохмотьях, едва прикрывавших тело, и к собранию обратился смело:

— О люди разумные и степенные, вы послушали наставления драгоценные. Кто совету мудрому намерен внять, должен это поступками доказать в щедростью подаяния грешные искупить деяния. Клянусь я всезнающим и всепрощающим, бедность моя не требует объяснения, а назойливость заслуживает снисхождения. Неужели мой вид не вызовет жалости в ваших сердцах? Помогите мне, и вам поможет Аллах!

Нашлось тут добрых людей немало, мошна бедняги быстро полниться стала, словно родник внезапно забил и пустыню бесплодную оросил. С полной сумою гордо шагая, он ушел, Тиннис восхваляя. Вслед за юнцом восвояси старик удалился; руки вздевая, на ходу он громко молился, Аллаху всевышнему хвалу воздавал и восславить господа всех призывал.

Продолжал рассказчик:

— Мне захотелось старца догнать и все скрытое и нескрытое о нем узнать. Долго я следом за ним шагал, но увы — шейх молчания не нарушал. Лишь когда убедился, что за нами никто не следит и опасность ему не грозит, он обернулся ко мне проворно и приветствовал с радостью непритворной. Потом спросил:

— Восхитился ли ты этого газеленка умом?

Я сказал:

— Восхищаюсь я равно учителем и учеником.

Шейх промолвил:

— Этот юный ловец жемчужин не посрамит гордой славы Серуджа.

Я воскликнул:

— Да, сразу видно, твоего это дерева плод, искра огня твоего в нем живет!

Абу Зейд догадку мою подтвердил и сметливость мою похвалил, а потом спросил:

— Не зайти ли нам в какой-нибудь дом, где чашу вина мы могли бы распить вдвоем?

Я сказал:

— Горе тебе, ты людей к благочестию призываешь, а сам о нем забываешь!

В ответ он притворно усмехнулся, от меня отвернулся, прочь пошел, но потом вернулся и сказал:

— Запомни-ка на прощание еще одно назидание:

Душу вином омывай от печалей!
Тем же, кто станет тебя упрекать,
Ты отвечай: «Ведь потом покаяньем
Я, как и ты, буду грех свой смывать!»

Затем добавил:

— Что ж до меня, то я пойду, себе такой уголок найду, где можно и утром и вечером пить и никто не станет за это корить. Я вижу, компания моя тебе не годится и ты не умеешь веселиться. Нам с тобою не по пути — посторонись в дай мне пройти. Подсматривать за мной не пытайся и выслеживать меня не старайся!

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Тут он покинул меня и пошел, как видно не думая возвращаться; я же в огорченье вздыхал: «Лучше бы вовсе нам не встречаться!»

Перевод В. Кирпиченко

Девичья макама (сорок третья)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Зашвырнула меня разлука мучительная, занесло путешествие утомительное в такие места, где мог любой проводник заблудиться, а славный герой — от страха ума лишиться. Растерянный, одинокий, я не стал проклинать свой жребий жестокий, а старался тревоги сердца унять и верблюдицу утомленную не уставал погонять. И выигрыш и проигрыш разом мне выпадали, то надежду дарили, то ее отнимали, а моя верблюдица то как ветер неслась, то шагом плелась, пока солнце не двинулось на покой и свет не померкнул дневной. Я испугался наступления темноты, побоялся нападения войска ночной черноты и не знал, как мне ночь скоротать: то ли верблюдицу привязать, в плащ завернуться и у ног ее на ночлег растянуться, то ли страх превозмочь и наугад погрузиться в ночь.

Пока я обдумывал решение, снимая сливки разумного мнения, вдруг у подножия темной скалы — о чудо! — мне привиделась тень верблюда. Подумал я, что и хозяин верблюда тут же прилег отдохнуть, и к ним поспешно направил свой путь. Оказалось правильным мое суждение, в цель попало предположение: я увидел верблюдицу под седлом, а рядом ее владелец спал, укрывшись плащом. Я решил, что мне подождать придется, пока он от сна очнется, присел у его изголовья — и в тот же час зажглись светильники его глаз. Он чужого почуял, встрепенулся, испуганно отшатнулся и спросил, приглядываясь сквозь мрак:

— Кто ты — друг или враг?

Я сказал:

— Я путник ночной, потерявший дорогу. Помоги мне — и я приду к тебе на подмогу.

Он откликнулся радостно:

— Отбрось тревоги, пусть они сердце не отягчают — ведь не только родичи нас из беды выручают!

При этих словах дружелюбных отошли от меня заботы и к глазам подкралась дремота. Но незнакомец сказал:

— Не хвали ночной переход до утра![306] Ты согласен, что нам в дорогу пора?

Я ответил:

— Согласен, ведь я из тех, которые мнение друга чтут, и буду покорней тебе, чем сандалии, в которые ты обут.

Привлекло его мое поведение, а моя покорность вызвала одобрение, и, чтобы время зря не тянуть, мы отправились в путь, ехали всю тяжелую ночь, седел не покидая, дремоту едва одолевая, пока заря свое знамя не развернула и темноту не спугнула.

Когда же утро с лица своего убрало черное покрывало, разглядел я товарища нежданного, Аллахом мне данного, — это был Абу Зейд, предел надежд и мечтаний лучших, руководитель заблудших. Мы протянули друг к другу руки, как двое любящих, что сошлись после долгой разлуки, а потом свои тайны друг другу открыли и новости сообщили.

К утру моя верблюдица от усталости громко стонала; его же верблюдица резво, как страусенок, бежала. Такая неслыханная сила очень меня удивила, стал я верблюдицу разглядывать и о ней Абу Зейда расспрашивать.

Он сказал:

— У этой верблюдицы история удивительная, красивая и поучительная. Клянусь Аллахом, подобной истории ты никогда не слыхал! Если хочешь услышать — нужно сделать привал. А если не хочешь ее узнать — я не обижусь и буду молчать.

Охваченный любопытством, я согласился сразу и сделал свой слух мишенью его рассказа. Он сказал:

— Знай, что эту верблюдицу я в Хадрамауте[307] купил, хорошую цену за нее заплатил. Сила ее в долгих дорогах испытана, много кремней разбито ее копытами; быстро она пересекает пустыни, как

пустится вскачь — пыл ее не остынет! Не знает она усталости и утомления, любую верблюдицу перегонит — людям на удивление; не нужна ей смола для того, чтоб залечивать раны; и голод и холод готова она выносить постоянно.

Своей покорностью сердце мое она всегда ублажала, но вдруг однажды от меня убежала, оставив мне только свое седло, а с нею вместе словно счастье мое ушло: горевал я, все прежние беды ничтожными мне показались, глаза мои распухли от слез и больше не открывались.

Так провел я три ночи и три дня. Силы покинули меня, не спал я, не ел, не мог подняться, готов был с жизнью расстаться. Наконец я пустился на поиски, обшаривал пастбища и дороги, обивал напрасно чужие пороги, думал — больше мне ее не видать, но никак не мог успокоиться и бросить искать. Вспоминал я, как резво она по пустыне бежала, как птиц быстрокрылых опережала, и мутили мне мысли эти воспоминания, а сердце терзали страдания.

Как-то, во время поисков, в бедуинском становище я отдыхал и громкий голос издалека вдруг услыхал:

— Эй, кто потерял хадрамаутскую, много дорог исходившую, своему владельцу верно служившую? От коросты она избавлена, клеймо у нее на коже поставлено, сбруя из ремешков на ней переплетена, горбом изогнута ее спина, всадника она украшает, по пустыне двигаться помогает, в путешествии дальнем незаменима, хозяином неизменно приближена и любима, никогда усталости не ощущает, боль никакая ей не мешает, подгонять ее палкой не нужно — всегда покорна она и послушна!

Сказал Абу Зейд:

— Приманил меня вестник, громко кричавший, радостной вестью о пропавшей. Побежал я к нему что было сил, учтиво его приветствовал, потом попросил:

— Верни поскорей пропажу мою — я большую награду тебе даю!

Он спросил:

— А что у тебя за пропажа? Скажи, и пусть за ошибку Аллах тебя не накажет.

Я ответил:

— Это верблюдица с крепкой высокой спиной, горб у нее словно холм большой, быстрый бег ее как птичий полет, ведро молока она

каждый день дает. Бедуины в Йемаме[308] у меня ее торговали, двадцать монет мне за нее предлагали, да за нее и этого мало: такой верблюдицы нигде не бывало!

Услышав мои слова, он от меня отошел и сказал:

— Нет, ты не хозяин той, которую я нашел.

Я за ворот схватил его и стал обвинять во лжи, кричал ему:

— Находку свою покажи!

Был готов разорвать я на нем рубаху, а он повторял спокойно, без всякого страха:

— Ты ищешь другую, послушай, не надо злиться, умерь-ка свой пыл и перестань браниться! Или вот что предложу тебе я: в этом племени есть третейский судья. Безошибочно он дела решает, каждый ему доверяет. Если тебе он находку присудит — ты ее заберешь, а если откажет — успокоишься и уйдешь.

Не увидел я иного решения и печали своей утоления; пришлось мне рискнуть и согласиться к этому судье обратиться.

Вошли мы к шейху достойному, словно с птицей на голове[309], медлительному, спокойному; украшала его большая чалма, на челе виднелась печать справедливости и ума. Горько жалуясь, все я судье рассказал, а мой противник упорно молчал. Когда же опустошил я жалоб своих колчан, уверенный, что судья рассудит, где истина, где обман, достал мой спутник сандалию грубую, изношенную, владельцем забытую или брошенную, и с усмешкой сказал:

— Вот находка, которую я описал. Неужель за такую ему давали двадцать монет? Веришь ты этому или нет? Не иначе — он лжец и клеветник или недобрый шутник. Разве что этот упрямец старый имел в виду не двадцать монет, а двадцать крепких ударов, — пусть тогда он находку мою забирает и меня в обмане не обвиняет!

Судья сандалию повертел в руках, потом промолвил:

— Прости Аллах! Сандалия мне принадлежит, а твоя верблюдица в стойле моем стоит. Ступай поскорей, ее забери и впредь, сколько можешь, добро твори!

Я встал и сказал:

Клянусь пред вами Каабою[310] святой
И праведных паломников толпой:
Не сыщется нигде судья такой!

Да будет славен суд прекрасный твой,
Пока верблюдов поит водопой!

А судья ответил без промедления, без всякого затруднения:

Добром тебе воздастся, братец мой!
Я не гонюсь за пышною хвалой,
Ведь люди худшие — судья дурной
И подданных палач — правитель злой,
Как псы цепные в ярости слепой!

Потом он распорядился — и сразу верблюдицу привели согласно его приказу. Он вернул ее мне, не потребовав за постой возмещения, вызвав этим всеобщее восхищение. Повел я верблюдицу домой, полы радости влача за собой, оглашая окрестность громкой хвалой.

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Сказал я: «Клянусь Аллахом, узор рассказа ты умело соткал, ткачом искуснейшим себя показал. Таким мастерством нельзя пренебречь! Скажи, приходилось тебе встречать человека, кто умел бы красивей построить речь?»

Он в ответ:

— Приходилось, так и знай. Слушай — и слух свой услышанным услаждай: когда я в Тихаму[311] направлялся, то жениться собрался, чтобы верную спутницу иметь и бремени одиночества в пути не терпеть. Нашли невесту, сладили дело — и вдруг сомненье мной овладело. Стал я бояться, что стрела моя промахнется и удача от меня отвернется. Провел я ночь в сердечных терзаниях, в мучительных колебаниях и решил: когда рассветет, спрошу совета у первого, кто мимо пройдет.

Когда ослабила ночь шнуры своего шатра, а звездам исчезнуть пришла пора, вышел я, словно тот, кто потерю ищет, или волк, что в степи за добычей рыщет. И попался навстречу мне мальчик, лицом прекрасный, сиял он, как месяц ясный, и его красоты сияние счел я за доброе предзнаменование. Чтобы развеять свои сомнения, я спросил у него о женитьбе мнение.

Он отозвался:

— А на ком ты хочешь жениться? На женщине зрелой или на молодой девице?

Я попросил:

— Ты и реши судьбу мою, ее поводья в руки я тебе отдаю!

Он ответил:

— Я тебе выскажу суждение, а ты уж сам принимай решение. Послушай слова мои, если слушать готов, — да погубит Аллах твоих врагов!

Девица — жемчужина несверленая и яйцо, заботливо береженное; это первый, еще не увядший плод; вино из сока невыжатого, который сам из ягод течет; свежий луг, в нетронутости хранимый, самоцвет, высоко ценимый. Никто ее не касался, ни один мужчина с ней не общался, шутник с нею шуток не шутил, развратник ее не развратил. Вид у нее стыдливый, взгляд боязливый, тихая, не речистая, душою и сердцем чистая. Для мужа она — словно кукла забавная, развлечение славное, газеленок, нежно ласкаемый, шербет, с наслажденьем вкушаемый. Ложе ее в зимний холод согреет — на нем и старик помолодеет!

А зрелая женщина что объезженная верблюдица: и днем и ночью для мужа трудится; это блюдо, без промедления подаваемое, и цель, легко достигаемая, искуснейшая кухарка, опытная лекарка, любящая подруга, спасающая от любого недуга; узел, который жениху легко развязать; дичь, которую нетрудно поймать; добыча легкая для того, кто спешит в поход, кобылица наездника, которому силы недостает; ласки ее милы, узы не тяжелы, тайна ее от мужа не скрыта, венцом покорности ее голова увита.

Клянусь, что обеих я тебе верно изобразил, ничего не преувеличил и ничего не скрыл. Скажи, кто из них сердце твое привлекает и вожделение возбуждает?

Сказал Абу Зейд:

— Подумал я: «Этот камушек, если в кого попадет, голову до крови расшибет», но возразил ему:

— Ведь говорится, что у девицы любовь сильнее, повадка честнее!

Он ответил:

— Жизнью твоею клянусь — действительно, так говорят, — да люди часто болтают зря! Остерегись! Девица — кобылка норовистая и упорная, никакой узде непокорная. Из такого кремня высечь искру едва удается, крепость такая осаде с трудом поддается. Прокормить девицу — большой расход, помощь ее — невелик доход. Ее поцелуи — гром, который дождя не сулит; игривость ее притворная зря манит, руки ее неловки, ей ни в чем не хватает сноровки, общение с нею трудное, терпенье у нее скудное; с нею ночь для мужа темна, тайна ее не сразу видна, нелегко ее оседлать, с нею позора мужу не избежать. В замужестве сладости она не видит, того, кто ласкает ее, ненавидит, злобствует на веселого шутника, унижает искусного знатока. Говорит она мужу: «Я приоденусь и буду сидеть, а ты поищи, кто о доме будет радеть».

Я перебил его:

— Ну, говорун бывалый, а что ты скажешь о женщине, которая замужем побывала?

Он тут же ответил:

— Горе тебе, неужели объедки чужие тебя привлекают иль ты из тех, кто опивки из чаш допивают? Иль одежда поношенная тебе нужна? Или в старой посуде еда для тебя вкусна? Или хочешь ты лакомку, постоянно мужчин меняющую, плутовку, любого перехитряющую, бесстыдницу хочешь шумливую, жадную и ворчливую, чтоб она тебя попрекала: «Как мне вольготно за прежним мужем жилось! И какие лишения теперь испытать пришлось! Прежний муж меня уважал, не давал в обиду, не обижал — но дню вчерашнему назад не вернуться, луне до солнца не дотянуться!» Если о первом муже она постоянно тужит, если дети ее, подрастая, ей о прошлом напоминают или если ее все время к мужчинам тянет, с такой женой у тебя покоя не станет. Она — как железный ошейник, что кожу в кровь растирает, или рана, которая не заживает!

Я промолвил в растерянности и страхе:

— Что же, мне совсем не жениться и податься в монахи?

Мальчик строго взглянул — и я перед ним поник, как провинившийся ученик. Он воскликнул:

— Стыд тебе и позор! Как ты посмел заводить о монашестве разговор! Здравого смысла в тебе, видно, нету! Пропади ты пропадом с монахами и аскетами! Неужели не знаешь хадиса[312] о том, что

монашества нет в исламе[313]?! Неужели о женах пророка — да будет над ними мир! — ничего ты не слышал своими ушами?

Поверь, что подруга добрая будет домом твоим заниматься, на голос твой откликаться, от порока твой взор отвратит и доброе имя тебе сохранит. С нею сердце будет спокойно и радо; она подарит тебе сыновей — для взора усладу, и сегодня и завтра будут они для тебя утешением, жизни твоей продолжением.

Теперь же твое поведение заслуживает упрека, ибо ты отвращаешься от сунны пророка[314], избегаешь примера достойных людей, ни достатка не хочешь, ни детей! Так и вся жизнь рассыплется прахом, постыдны слова твои, клянусь Аллахом!

Тут он сердито отвернулся, прочь пошел — и даже не оглянулся. Но я догнал его впопыхах, крича:

— Да погубит тебя Аллах! Неужели уйдешь ты без сожаления и покинешь меня в волнении и смущении?!

Он сказал:

— Ты притворяешься смущенным искусно, чтобы предаться пороку гнусному, обойтись без женщины, калым за нее не платить, денежки свои сохранить!

Я воскликнул:

— Скорее от мыслей дурных откажись, гнева Аллаха остерегись!

Потом ушел от него, растерянный и без сил, каясь, что совета у мальчика попросил.

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Сказал я: «Клянусь владыкой лесов и гор! Признайся, ведь сам с собою ты вел этот спор!»

Абу Зейд во все горло расхохотался, надо мною как будто от души потешался. Потом сказал мне:

— Лижешь мед — так не спрашивай, из чьих он сот!

Я начал талант его хвалить, который без денег может владельца своего прокормить. А он равнодушно на меня поглядел, словно не понял, что я сказать хотел. Я же увлекся и никак не мог перестать славный клан литераторов восхвалять, пока Абу Зейд не прервал меня и не сказал:

— Помолчи! Слова красивые зря не мечи!

Потом продекламировал:

Считают, что лучшего нет украшенья,
Чем знанья — плоды золотые ученья.
Но только богатых плоды эти красят —
Хозяев запрета, владык разрешенья,
А бедному лучше простая лепешка,
Чем слов удивительных хитросплетенье,
Чем званье писца иль ученого шейха —
Какое в словах бедняку утешенье?

Затем он сказал:

— Если ты не склонен мне верить и верность слов моих хочешь проверить, то пойдем со мной поскорее — тогда моя правота будет тебе видное.

Долго мы шли, наконец привела нас дорога к деревне бедной, убогой. Мы решили в эту деревню зайти, потому что наши запасы поистощились в пути. Когда добрели до стоянки мы караванной в поисках цели желанной, маленький мальчик нам попался навстречу; вязанка хвороста ему отягчала плечи. Абу Зейд поздоровался с ним учтиво, как с мусульманином взрослым, и пожелал обратиться к нему с вопросом. А мальчик призвал на нас божию благодать и приготовился отвечать.

Спросил Абу Зейд:

— Могу ли у вас купить за стихи я финики свежие или сухие?

Мальчик сказал ему в ответ:

— Клянусь Аллахом всевышним, нет!

Абу Зейд спросил:

— А за касыду[315] можно купить тарелку асыды[316]?

Мальчик сказал ему в ответ:

— Клянусь великим Аллахом, нет!

Абу Зейд спросил:

— А за сатиру — кусочек сыру?

Мальчик сказал ему в ответ:

— Где там, клянусь Аллахом, нет!

Абу Зейд спросил:

— А за песню хвалебную — лепешку хлебную?

Мальчик сказал ему в ответ:

— Аллах да простит тебя — конечно, нет!

Абу Зейд спросил:

— А за поучение — какого-нибудь печения?

Мальчик сказал ему в ответ:

— Да направит Аллах тебя — нет и нет!

Абу Зейд спросил:

— А взамен трактата ученого — гороху моченого?

Мальчик оказал ему в ответ:

— Помолчи и больше не спрашивай — нет!

Абу Зейд в вопросах своих изощрялся, разговором этим от души развлекался. А мальчик понял, что этот спор бесконечен, что противник его весьма учен и в ораторстве безупречен, тогда он сказал:

— Довольно, о шейх, показал ты свое красноречие. Хочешь — на все твои вопросы сразу отвечу я? В этой деревне ни хвалу не купят у тебя за халву, ни предсказанье судьбы за жареные бобы; здесь не продашь за оливки остроумия сливки, а рифм золотой песок — за мяса кусок. Будь ты самим Лукманом[317], здесь за мудрость твою не купишь барана, а красноречья река не даст тебе капли кислого молока!

Нынче перевелись острословия покровители, таланта щедрые одарители, тучи, которые дождь проливают, когда мудреца на пути встречают. И где теперь найдется султан, который за звонкую хвалу поэту подымет сан?! Для них литератор или поэт словно пастбище высохшее, где ни травинки нет; но если пастбище не орошается, то оно пропадает без пользы и в нем никто не нуждается. А знания, если богатством не подкрепляются, то они нелегко воспринимаются; их в голове у себя сохранять — словно камни большие в доме держать!

Кончив речь свою, мальчик заторопился, распрощался с с нами и прочь пустился. Абу Зейд сказал мне:

— Вот видишь, знанья — товар, не имеющий сбыта, друзьями прежними давно позабытый.

Мне пришлось поневоле согласиться с его рассуждением и признать правоту его мнения. Тогда он сказал:

— Оставим, друг мой, о поэзии спор, поведем о еде разговор. Не будем касаться предмета бесплодного — ведь сравненья и рифмы не насытят голодного! Как бы искру жизни нам сохранить и пожар внутри погасить?

Я ответил:

— Поводья в твоих руках. Действуй на собственный риск и страх.

Он предложил:

— Если б твой меч мы отдали в залог — обоих он нас прокормить бы мог. Подавай-ка его сюда — через минуту будет еда! Не подумавши ни о чем дурном, я его опоясал своим мечом. На верблюдицу он взобрался — и с честью и дружбой в тот миг распрощался. Долго пришлось мне Абу Зейда ждать; потом я пустился его догонять. Да напрасно! Поверив обманщику сгоряча, больше не видел я ни его, ни своего меча.

Перевод А. Долининой

Рамлийская макама
(сорок пятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Видывал я над своей головою разных стран небеса; отразились в зеркале моих странствий всех краев земных чудеса; в дальних местах опасность не раз мне грозила и, случалось, близкой казалась могила. Но сколько удивительного зато я узнал, сколько диковинного повидал. А самое памятное из приключений и самое забавное из развлечений случилось в городе Рамле[318] когда-то, у судьи, в доме большом и богатом.

Явился к судье ветхий старик в столь же ветхий плащ облаченный, а с ним молодая красотка — жалость внушал ее вид удрученный. И только старик рот собрался раскрыть, желая дело свое судье изложить, как красотка его перебила и сама вдруг дерзко заговорила. Без стыда и смущенья откинув с лица покрывало, она такие стихи сказала:

О почтенный и мудрый рамлийский судья,
Пусть твоя справедливость отверзнет уста!
Муж не хочет свой долг предо мной выполнять:
Посещать не желает святые места!
Редко-редко ленивец отправится в хаджж —
Словно лишняя в том для него тягота.
Вслед за хаджжем бы сразу и умру свершить,
Как велит Абу Юсуф[319], да удаль не та!
Между тем за собой я не знаю греха,

Незапятнана чести моей чистота,
Никогда я не смела перечить ему —
Без вины пропадает моя красота!
Прикажи ему истово долг выполнять,
Чтоб дождем изливалась его щедрота,
Или, ради Аллаха, ты нас разведи,
Пока я уж совсем не лишилась стыда!

Шейху судья сказал:

— Ты слыхал, в каком грехе она тебя обвиняет и какою карою угрожает? Сторонись порока и жену не мучай жестоко — берегись, как бы не поплатиться, если гнев ее огнем разгорится!

Голову шейх перед судьей склонил, и ключ красноречья его забил:

Мудрый кади[320], поверь, что за мной правота —
Пусть вовек не иссякнет твоя доброта!
Я не думал любовь от жены отвращать —
Как и прежде, она в ноем сердце свята!
Но судьба за ударом наносит удар:
Мы лишились всего, и в дому пустота,
Ожерелья жены мне пришлось распродать —
В кандалы заковала меня нищета!
Был я нежен когда-то в любви, как узрит[321],
Страсть во мне возбуждала жены красота,
Но теперь я к ней руку страшусь протянуть,
Как аскет, для которого страсть — суета.
Я пахать бы не прочь, да посеять боюсь:
Сын родителей нищих — нагой сирота!
И за это не надо меня упрекать
Иль корить многословно: причина проста!

Женщина гневом запылала и в ответ закричала:

— Горе тебе, ты, дурья башка! Как от козла, от тебя ни шерсти, ни молока! Так ты оставляешь меня бесплодной, убоявшись смерти голодной?! Но ведь сказано — всякий рот себе пропитание

непременно найдет. Потерял ты разум на старости лет: стрелы мечешь, а меткости нет. Притупилось твое соображенье, и стал ты жене доставлять одни огорченья.

Кади сказал ей:

— Ну, говорунья, доведись тебе в споре состязаться с самой Хансой[322], поле битвы осталось бы за тобой. Прославленная онемела бы от изумленья и отказалась бы от словопренья. Но если супруг твой не лгал, говоря, что беден и нищ, — ты коришь его зря, ибо заботы желудка пустого отвлекают его от дела святого.

Женщина молча исподлобья глядела и, как видно, спор продолжать не хотела. Мы подумали: уж не мучится ли она стыдом, что так опозорила свой собственный дом? Тут шейх промолвил, к жене обратись:

— Ты все рассказала, не таясь? Горе тебе, если что-нибудь скрыла или истину исказила!

Жена воскликнула:

— Коль пришли мы на суд, чего же скрывать? Разве осталась у нас хоть на единой тайне печать?! Увы, правдивым был наш рассказ, но позорна правда для нас. Уж лучше нам было бы онеметь, чем такое бесчестье терпеть.

Она завернулась в рваное покрывало, сделав вид, будто слезы горькие проливала и от унижения тяжко страдала. Горести бедных супругов тронули сердце судьи, он от души сокрушался и сетовал на жестокость судьбы. Две тысячи дирхемов он им пожаловал щедрой рукой и произнес:

— Идите, насытьте желудок пустой. Причину размолвок искорените и отныне в любви и согласье живите.

Восславив судью за мудрость решения и щедрость вознаграждения, вышли они за порог и пустились скорей наутек. Когда же скрылись они в отдалении, кади не мог сдержать восхищения — стал хвалить их ум и умение и узнать пожелал их происхождение. И сказал его старший помощник, случившийся тут:

— Этот шейх — Абу Зейд ас-Серуджи, прославленный плут, с ним его верная подружка, а спор их — не более как ловушка. Серуджиец ловко сети обмана плетет, в искусстве своем плута любого он превзойдет.

Разгневался кади, узнав, что стал он жертвой обмана, на помощника, раскрывшего тайну, набросился рьяно и приказал:

— Живее следом за ними иди, старика и красотку назад приведи!

Помощник быстро с места вскочил, грозный вид на себя напустил и помчался вдогонку за беглецами, но вскоре вернулся, разводя в огорченье руками. Кади сказал нетерпеливо:

— Говори скорей, что тебе удалось разузнать, только не вздумай от меня ничего скрывать.

Помощник ответил:

— Обегал я все улицы и переулки, обшарил все закоулки, наконец у городских ворот их настиг — собираясь город покинуть, верблюда седлал старик. Я стал убеждать его сюда вернуться скорее, уверял, что он об этом не пожалеет, но старик не поддался на уговоры и продолжал свои сборы, сказав: «Тот разумен, кто вовремя уйдет. Береженого Аллах бережет!»

А жена настаивала: «Надо рискнуть и назад к судье повернуть. Знай, что трус потом всегда с досады кусает ус». Старик же решил, что глупость ее беспробудна, а смелость ее — безрассудна, ухватил покрепче жену за подол и ей такие стихи прочел:

О жена, неразумны твои возражения!
Ты прими мой совет, не проси объяснения.
Будь как птица: на пальме отведавши фиников,
Улетай — и всегда избегай возвращения,
Даже если хозяин в беспечности сладостной
Охранять забывает свои насаждения.
Умный вор в ту страну возвращаться не вздумает,
Где остались следы от его преступления.

Потом он сказал мне:

— Порученное ты старался исполнить честно, но видишь — настаивать неуместно. Так что ты восвояси ступай, а тому, кто послал тебя, такие стихи передай:

Одумайся, кади, за милостью
Пусть не последует месть,

Иначе вернешь ты имущество
Но потеряешь честь.
Не сетуй, коль наши просьбы
Успели тебе надоесть
И коль о моем обмане
Тебя огорчила весть —
Не я изобрел красноречье,
Уловки, плутни и лесть:
До нас обманов хватало,
Тому примеров не счесть;
Ты шейха аль-Ашари[323] вспомни —
Рассказ о нем мудрый есть.

Кади промолвил:

— Да накажет его Аллах, сколь он искусен в обмане и остроумен в речах!

Потом, вручив помощнику два плаща шерстяных и кошель, полный монет золотых, он сказал:

— Беги со всех ног, не сворачивая с пути, они не могли далеко уйти. Пусть они без стеснения примут мое поднесение. Поэты всегда меня восхищают и сердце мое похищают!

И заключил аль-Харис ибн Хаммам:

— И больше нигде в целом свете чуда я такого не встретил и от тех, кто всюду бывал, ничего подобного не слыхал.

Перевод В. Кирпиченко

Алеппская макама
(сорок шестая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Неотступной страсти следуя слепо, потянулся я в город Алеппо[324]. В то далекое время плечи мои еще не давило зрелости бремя, не было у меня ни имущества, ни детей и я не затягивал исполненье своих затей. Коль на сердце легко, дорога недолго длится: я в Алеппо летел как птица. В этом городе сладостном я поселился и весенним пастбищем его насладился. Дни проводил я в делах, что от страстей исцеляют и желания утоляют. Наконец я познал удовлетворение и ворон разлуки прокаркал мне удаление. Тут же сердце мое неустанное и любопытство мое постоянное подсказали мне в Химс[325] отправиться, летние месяцы там провести, если мне город понравится, и его жителей заодно испытать: так ли они глупы, как мне приходилось слыхать. Поспешил я туда — быстро, как падающая звезда. Разбил я в Химсе свою палатку и день за днем вдыхал его воздух сладкий.

И вот однажды увидел я старика: ноша лет за спиной его нелегка, весна и лето давно позади, а стужа зимняя — впереди. Десять мальчиков тут же сидели, с благоговением на старца глядели. Я понял, что мне представился случай подойти и узнать, чему здесь ученые учат. На мое приветствие старец ответил любезно — видно, мое внимание ему показалось лестным. Сел я рядом, чтобы испробовать, какие плоды приносят его слова, и добраться до сердцевины глупости, которой полна его голова. А он на старшего мальчика палочкой указал и строго ему приказал:

— Без промедления ты сочини мне стихи прекрасные, чтобы каждое слово начиналось с глухой согласной.

Мальчик вскочил, как юный лев, и продекламировал нараспев:

Ты хитрые козни противнику строй —
Пускай потеряет противник покой!
Приятелю щедрость пожалуй свою —
Печали тогда потекут стороной.
Ты правым путем постарайся пройти,
Чтоб счастье купить справедливой ценой.
Порок поражай своим смуглым копьем,
Хвали совершенство прекрасной хвалой!
Подарит простору широкому свет
Пылающий факел победы святой!

Старик воскликнул:

— Ты молодец, месяц на небосклоне, маленький мой мудрец.

Затем обратился к ученику другому, похожему на того, видно, брату его родному, и сказал:

— Подойди ко мне, Огонек, время пришло и тебе отвечать урок! Напиши мне стихи изящные, тонкие, чтобы в начале слов были согласные плавные лишь и звонкие.

Мальчик калам[326] и доску взял и, не задумываясь, такие стихи написал:

Звенит, заливаясь весельем, вода;
Взошла в небесах голубая звезда.
Жемчужные блики в бокалах друзей —
Воды да вина вековая вражда.
В высоких ветвях неумолчно звучит
Ликующий, радостный голос дрозда.
Рекой, не жалея, мы золото льем;
Дитя винограда нам мило всегда!
Забыты болезни да бремя забот,
Бегут за вином безмятежно года!

Шейх воскликнул:

— Сочинил ты хамрийю[327] прелестную! Аллах да благословит тебя, как оливу небесную![328]

Потом он позвал:

— Светлячок, подойди сюда!

И приблизился юноша — словно во мраке звезда, белолицый и чернобровый, стройный, словно фигурка из кости слоновой. Старик сказал ему:

— Стихи пятнистые на долю тебе достались, напиши их так, чтоб в начале слов согласные с гласными чередовались.

Был калам наготове в его руке, и юноша быстро написал на доске:

Огорчила Рукейя упреком меня,
Отвернулась, пошла, ожерельем звеня,
Обожгла меня исподволь холодом уст
После искристой ласки и страсти огня.
Говоришь — я виновен, однако сама
Оседлала жестокой обиды коня!
Ожидая тебя, я боюсь умереть,
Тяжелей испытание день ото дня.
Ах, зачем отчужденье, наветы и злость!
Я молю о прощенье, обрадуй меня!

Шейх сказал:

— Руки твои работают славно, и клинок наточен исправно!

И снова он вызвал:

— Ну, Проказник, теперь на твоей уж улице праздник!

На зов его откликнулся сразу красавец, словно жемчужина водолаза, с глазами быстрыми и веселым лицом, ловкий, как антилопа, не пойманная ловцом.

Старец сказал ему:

— Мы от тебя хотим стихов, где каждое слово отмечено буквой «мим».

Взяв калам, написал он без остановки, показывая свою сноровку:

Марьям умильно меня заманила,
Муча жеманством, меня истомила,
Мимо потом мотыльком промелькнула,
Милость немилостью вмиг заменила.
Мне изменила обманщица Марьям,
Мрачная темень мой месяц затмила.
Месть вероломной мой ум занимает,
Мир мне немил, мне милее могила!

Старец написанное внимательно разглядел, потом он вслух эти стихи пропел и одобрил, сказав:

— Стихи прекрасно звучат, от них исходит сладостный аромат!

Потом обратился к другому ученику, едва распустившемуся цветку, и велел ему:

— В твоих стихах строчек пусть будет мало, но зато укрась их каймой, как йеменское покрывало: в каждом двустишии пусть совпадут концы и начала.

Мальчик ответил:

— Слушай стихотворение!

И продекламировал без промедления:

Вина ли моя, что Аллах нам разлуку судил,
В тот день, когда вместе испили мы страсти вина.
Да, наше безмерное горе не знает границ!
Ужели навек нам Аллахом разлука дана?
О, надо мне душу покрепче опутать уздой,
Иначе погубит мой праведный разум она!

Старик воскликнул:

— Славно, дружок! Твой голос звонче, чем пастуший рожок!

Потом приказал другому:

— Скажи мне, Ясин, стихи, где каждое слово начинается с буквы «син».

Мальчик встал, улыбнулся приветливо и произнес, пришепетывая кокетливо:

Скорей сложи стихотворение,
Сомни суровое сомнение!
Скажи себе: свершенье сладостно,
Судьба сулит соединение.
Свиданье сбудется секретное,
Смири страстей своих смятение,
Следи созвездий сочетание —
Счастливых судеб совпадение!

Шейх похвалил его:

— Прекрасно, мой милый! Я вижу, учение твой ум отточило.

И снова он вызвал ученика, сказав:

— Задача твоя легка: велю я тебе такие стихи написать, которые буквы «ра» не должны в себе содержать.

Мальчик, словно разбуженный львенок, вскочил и, повинуясь приказу, тут же такие стихи сочинил:

Знай, милость Аллаха достигнет того,
Кто все отдает, не щадя ничего,
Кто помощи божьей послушливо ждет,
Не сетует, если лишится всего,
Кто хочет спасенье и счастье добыть,
Ничем не обидев нигде никого,
Кто в помыслах благостных тихо живет
И бога всевышнего чтит одного!

Шейх прочел и сказал:

— Спасибо, моя отрада, старческих глаз услада!

И опять позвал:

— Подойди-ка, Малыш, целый день ты сегодня молчишь! Теперь пришла и твоя пора: сочини стихи, чтобы в каждом слове слышна была буква «ра»!

Шустрый маленький мальчик вышел вперед и громко продекламировал, чтоб услышал его народ:

Щедро просящим подарки дари,
Щедро дарящего благодари!
Брату прости, прегрешенья скорей,
Твердой рукою добро сотвори!
Против неправды упорно борись,
Правду открыто друзьям говори!
Неотвратимая старость придет —
Бурные страсти заране смири!

Старик похвалил Малыша, и тот на место пошел не спеша.

Потом он позвал:

— Подойди, Слоненок, хитрый, как дьяволенок!

Выступил рослый юноша — горе влюбленным, красивей яйца страусиного, что лежит на лугу зеленом; и шейх сказал ему:

— Тебе покажется трудным едва ли сделать, чтобы во всех строках буквы начальные с конечными совпадали.

Ответил юноша:

— Учитель, слушай, и пусть у врагов твоих оглохнут уши:

Наши души терзает страстей ураган,
Насыщает их сладкий греховный дурман,
Навлекая на разум глубокий туман.
Не потворствуй страстям — в них и ложь и обман,
Неустанно читай вдохновенный Коран,
Неизменно ты пост соблюдай в рамадан[329]!
Нападет на отступника злобный шайтан —
Не спасет от него и могучий султан.
Нам для жизни Аллахом путь праведный дан —
На заре пусть отправится твой караван!

Шейх сказал:

— Обрадовал ты меня! Буду я за тебя молиться до последнего дня.

Потом он отдал приказ:

— А ты, Говорун знаменитый, выстрой в своих стихах слова все по алфавиту!

Вышел юноша, взором остер; лицо его было светлее, чем радушных хозяев костер. Очень громко, что было сил, стихи он такие заговорил:

Аллаха благое веление
Готовит друзьям единение.
Желание зависть использует —
Какое лукавое мнение!
Надежда — опора печальному —
Рождает святое терпение,
Уменье философа хитрого
Ценить червяка шевеление.
Щедрее щедрот эха юности
Яснеющей яви явление.

Старец юношу похвалил и такие слова ему говорил:

— Язык твой ловок, и ум не туп, горе тому, кто будет с тобою груб! Ты юн, но память твоя таит больше сокровищ, чем в недрах земля хранит!

Чистой водою знания всех я вас напоил и словно копья ваши умы отточил. Вспоминайте меня — и я буду вас вспоминать; остерегайтесь неблагодарными стать!

Сказал аль-Харис ибн Хаммам:

— Я подивился, веря ушам с трудом, — как глупость смешана с удивительным мастерством. Стал я разглядывать шейха внимательно, внешность его изучать старательно, но был я как путник осторожный темной ночью в пустыне бездорожной. Долго длилось мое заблуждение, затянулось смущение, но тут пригляделся ко мне старый плут и с усмешкой сказал:

— Нынче прежних друзей уж не признают!

Намек его сразу я угадал и по улыбке Абу Зейда узнал. Я упрекнул его:

— Каким же ветром в город глупцов тебя занесло? И зачем ты избрал дураков ремесло?

Посерело, как пепел, лицо Абу Зейда, во взоре погасло пламя, и он ответил мне такими стихами:

Решил я учителем в Химсе пожить,
Чтоб сладкую долю глупцов разделить —
Всегда к дуракам благосклонна судьба,
Богатством спешит их страну наделить,
А умный что вьючный осел во дворе,
И как же о доле его не тужить!

Потом он сказал:

— Ремесло учительское хорошую прибыль дает и недаром лучшим товаром слывет. Оно считается ремеслом благородным и Аллаху всевышнему угодным, людям внушает оно почтение, вызывает всеобщее уважение. Окружает учителя паства смиренная, приказу послушная неизменно. Учитель властвует, как эмир, распоряжается, как вазир[330], он подобен могущественному владыке, облеченному властью великой. Но приходит в расстройство ум его славный, и глупость скоро становится явной: он словно в ребенка превращается снова, от него не услышишь ты разумного слова.

Я сказал:

— Спасибо за мудрейший урок, ты нашего времени великий знаток, чародей, которому сердца подчиняются, перед кем слова ковром расстилаются!

Так, погруженный в его красноречья поток, я пробыл в его компании сколько мог. А когда веселые дни сменились тяжелыми днями, расстался я с ним, обливаясь слезами.

Перевод А. Долининой

Хаджрийская макама
(сорок седьмая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— В Хаджр аль-Йемаме[331] меня одолело недомогание, и почувствовал я потребность в кровопускании. Мне указали шейха, что кровь отворяет ловко и в этом деле имеет большую сноровку. Не мешкая слугу я за шейхом послал и ожидать его с нетерпением стал. Слуга помчался — не догнать скороходу — и пропал, точно канул в воду. Я уж думал, что он меня покинул иль но дороге где-нибудь сгинул. Наконец он вернулся в большом огорчении, не исполнив моего поручения. Рассердился я:

— Ты Финда медлительней[332]! Тебя ожидать — муки любой мучительней!

Слуга стал клясться своей головою, что лекарь, мол, занят, у него от больных нет отбою. К цирюльнику я побрезговал обращаться и хотел уж от намерения своего отказаться, но известно — коли нужда прижмет, каждый сам в отхожее место дорогу найдет. На ноги встав с трудом, я отправился к шейху в дом. Нашел я там старца, с виду чистого, в движениях быстрого, окруженного толпой посетителей и кольцом зрителей. К лекарю повернувшись спиной, стоял юноша стройный с непокрытою головой. Старец юноше говорил:

— Вот ты голову обнажил, а денег не предложил, затылок свой подставляешь, а карман зажимаешь. Но я не из тех, кто довольствуется обещаниями пустыми или ищет источник в безводной пустыне. Заплатишь мне монетой наличной — из двух вен тебе кровь отворю

отлично. А если скупиться станешь и жаться, то лучше тебе отсюда убраться.

Юноша сказал:

— Клянусь запрещающим ложь и обман, пуст, к сожалению, мой карман. Но поверь, будет щедрою плата мои. Я прошу отсрочки лишь на два дня.

Шейх ответил:

— Кто же нынче посулам доверяет? Они как саженцы, что едва подрастают. Кто знает, погибнуть им суждено или жить, засохнуть или плодоносить? Дадут ли они урожай обильный или к земле поникнут бессильно? Кто поручится, что, выйдя за дверь, ты не забудешь того, что обещаешь теперь? В наше время уменье простака провести у дошлого люда в великой чести. Ради Аллаха, избавь меня от хлопот — у меня их и так полон рот!

Юноша при этих словах смутился, к шейху поворотился и сказал:

— Клянусь Аллахом, кто от слова своего отступает — подло и скверно поступает. Поверь, что допустит клятвы своей нарушение только тот, кто низкого происхождения. Если бы знал ты, кто я таков, не сказал бы мне обидных слов. В своем неведении ты меня оскорбил, словно место святое мочой осквернил. Ах, сколь тягостно на чужбине в безвестности пребывать! Лишь поэту под силу так прекрасно об этом сказать:

Изгнанник, даже богатый, терпеть принужден униженья,
А что ж говорить о бедном, кто знает одни лишенья!
Но благородства не скроет и жалкое положенье,
Как мускуса не испортят толченье и размельченье.
Ты яхонт в костер бросаешь в видишь: горят поленья,
А яхонт — все тот же яхонт, внушающий восхищенье.

Старик рассердился:

— Горе отцу твоему, горе роду всему! Разве годится хвалиться высоким рождением и знатным происхождением там, где затылок тебе надрезают и кровь отворяют? Допустим, и впрямь ты знатного рода и благородна твоя порода. Что из того? Ведь затылок твой таков же, как и всякий другой. И будь ты даже царских кровей, болезнь не вылечишь

без лекарей. Советую, слов понапрасну не трать — того, что ты просишь, я не могу тебе дать. А хочешь хвалиться, хвались не предков величием, а денег наличием, хвастайся не корнями, а дорогими камнями, гордись не происхождением, а достойным среди людей положением. Не слушайся зова тщеславия — оно унижает; не следуй веленью страстей — они рассудка лишают. Воистину мудро сказал поэт, давая сыну совет:

Мой сын, иди прямым путем вперед —
Прямое дерево свободно вверх растет,
Но если ствол его перекрутить,
То гибели его пришел черед.
Не повинуйся жадности, терпи,
Когда жестокий голод чрево жжет.
Того, кто подчиняется страстям,
С высот низвергнет гибельный полет.
Корми убогих, ближним помогай —
И благородным всяк тебя сочтет.
Держись того, кто в горе не предаст
И кто тебя в разлуке верно ждет.
Прощай обиды, злобы не таи,
Чтоб не лежал на сердце тяжкий гнет.
Не жалуйся — где умный промолчит,
Там глупый плачет ночи напролет.

Выслушав стихи со вниманием, юноша обратился к собранию и воскликнул:

— Достойно удивления подобное поведение! Дела его речам не под стать, он мягко стелет, да жестко спать!

И, гневом пылая, к шейху он обратился, жемчужины слов роняя:

— Стыдись, на красивые ты щедр излияния, а на добрые скуп деяния! Проповедовать добродетель умеешь, а сам и дитя родное не пожалеешь. Если упорство ты проявляешь, потому что цену себе набиваешь, то пусть же зачахнет промысел твой, пусть ни один к тебе не заглянет больной, пусть все люди забудут, кто ты, пусть, как

цирюльник мадаинский[333], будешь ты без работы, пусть иссякнут твои доходы, словно в знойной пустыне воды!

Шейх в ответ:

— Нет, пусть тебя покарает Аллах, пусть будет язык твой весь в волдырях, пусть кровь забурлит, как крутой кипяток, и к цирюльнику кинешься ты со всех ног. А цирюльник тот будет с ланцетом тупым, неопрятный, сопливый, с характером злым, он ручищею грязной будет вены тебе взрезать и громко при этом ветры пускать!

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Увидел тут юноша, что старика не проймешь, как закрытую дверь головой не пробьешь. Решил он спора с ним не вести и как можно скорее прочь уйти. Понял тут шейх, что с юнцом обошелся он слишком жестоко и сам заслуживает упрека. Захотел он с ним помириться и от алчности своей отступиться. Но больной уж и слышать не желал о леченье и только в бегстве видел спасенье. И снова пошли они спорить и пререкаться, бранью друг друга осыпать и ругаться, при этом юноша сильно руками махал, так что одежду свою порвал. Тут зарыдал он, оплакивая свое невезение — и на платье дыры, и в ушах оскорбления. Кинулся шейх его утешать, раскаиваясь, что язык не сумел сдержать, но уговоры не помогали и лишь новые слезы из глаз юнца исторгали. Жизнь свою в жертву клялся шейх принести, лишь бы горести от него отвести. Потом сказал ему:

— Неужто плакать не надоело? Ты терпеть не приучен — это не дело! Разве не слышал ты слово «прощение»? Ведь об этом сказано в стихотворении:

Ты гнева огонь гаси своей незлобивостью.
Поверь, что незлобие — ума украшение.
Научит оно прощать и жизнь усладит твою:
Ведь плод самый сладостный на свете — прощение.

Ответил юноша:

— Если б ты знал все мои несчастья, то проявил бы больше участья. Но чья кожа чиста — разве тот понимает, как покрытый коростою страдает?

Потом он как будто голосу разума внял, рыданья свои унял, на рваный рукав указал и сказал:

— На себе я ношу все свои пожитки, так возмести же мои убытки.

Шейх ответил:

— Увы, ничем я тебя не ссужу, концы с концами я еле свожу. Взывай об участье к тем, кто богаче, — быть может, тогда тебе улыбнется удача.

Тут старик присутствующих поднял, к щедрости их призвал и, ряды обходя, такие стихи повторял:

Клянусь я Каабою[334] святой,
Во всех концах земли воспетой,
Куда паломники толпой
Стекаются, в ихрам[335] одеты:
Будь вдоволь денег у меня —
Не взял бы в руки я ланцета
И о деяниях моих
Гремела слава бы по свету.
Тогда бы юноша-бедняк
Не испытал обиды этой,
Услышал бы из уст моих
Не окрик злой — слова привета.
Увы, у яростной судьбы
Нисколько состраданья нету!
Так на кого нам уповать,
Коль голодны мы и раздеты?

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Был я первым, кого растрогала шейха мольба и опечалила злая его судьба. Два дирхема[336] я ему протянул и сказал:

— Это тебе, даже если ты и солгал.

Шейх обрадовался первому подаянию и счел его добрым предзнаменованием. И правда, дирхемы к нему потекли рекой — каждый жертвовал щедрой рукой. Вскоре наполнилась его сума — как видно, лицом к нему обернулась удача сама. Возликовал он при виде богатства такого и сказал, к юнцу обращаясь снова:

— Урожая этого и ты посадил семена, значит, доля, твоя с моею равна. Давай же доходы свои измерим и по-братски разделим.

На две равные кучки монеты они разложили и, друг другом довольные, меж собою мир заключили. Увидев, что закончено дело, к шейху я подошел несмело и сказал:

— Лихая болезнь на меня напала, в жилах вся кровь огнем запылала. Пришел я помощи у тебя попросить — не можешь ли ты мне кровь отворить?

Он пристальный взор на меня устремил и, голос понизив, проговорил:

Не правда ли, славную сцену с сыночком мы разыграли?
Притворством своим и обманом мы денег насобирали —
Как будто бы вдруг из пустыни в райские кущи попали.
Подобного мне витию ты слышал в жизни едва ли!
Поверь, что мои заклинанья любые замки открывали,
А речи мои колдовские любые умы пленяли.
Я знаю, Александрийца[337] еще до меня прославляли,
Но он словно мелкий дождик, что шел перед ливнем вначале.

Заключил аль-Харис ибн Хаммам:

— Эти стихи вывели правду наружу, и я признал известного ас-Серуджи. Я стал порицать его, что нечестно живет и сыну пример дурной подает. Отмахнулся он от моих упреков и слушать не пожелал намеков. И лишь промолвил, не скрывая укора:

— Разутому всякая обувь впору.

Вид оскорбленный на себя напустил и вместе с сыном прочь поспешил.

Перевод В. Кирпиченко

Харамийская макама
(сорок восьмая)

Передавал аль-Харис ибн Хаммам слова Абу Зейда Серуджийского[338]: «С тех пор как верблюда я оседлал и прощальный взгляд от родных оторвал, стремился я страстно увидеть Басру[339], потому что во многих книгах читал и от путешественников слыхал, что науки в том городе процветают, красоты взор ублажают, а святыни душу привлекают. Стал я усердно Аллаха просить, чтобы помог он мне на басрийскую землю ступить, в городе Басре расположиться, чудесными видами насладиться.

Когда же случилось попасть мне в Басру, я понял, что пыл мой не был напрасным:

> Сей город — для взоров людских утешение:
> Манит чужеземца и дарит забвение.

Однажды я вышел, когда солнце еще не вставало, но краска ночи уже слиняла, а петушиное пенье рассвет возвещало. Мне хотелось по городу побродить — душу повеселить. Кружил я по улицам и переулкам, сворачивал в закоулки, пока не вышел к большим домам, где обитает племя бану харам. Дворы в том квартале широкие, постройки красивые и высокие, бассейнов с чистой водою много, и к мечети протоптана дорога: людей различных там встретишь, их качества редкостные приметишь.

И чего только нет в этом славном квартале,
Удивительней место увидишь едва ли.
Там соседи найдутся на разные вкусы:
Есть отважные духом, есть слабые трусы.
Тот стихами Корана навеки пленился —
Этот голосу струн навсегда покорился.
Тот для мысли своей ищет путь воплощенья —
Этот жаждет богатству найти примененье.
Кто прилежно жует, кто усердно читает —
Или челюсти, или глаза утомляет.
Там беседа ученая за полночь длится —
Тут поет, словно птица, красотка-певица,
Кто учения сладостный плод пожинает,
Кто, с деревьев срывая, плоды пожирает.
Можешь там приобщиться к мужам богомольным,
Можешь вдосталь упиться напитком крамольным.
Можешь там обрести и пристойного друга,
И такого, что чашу пускает по кругу.

Целый день по улицам я скитался, красотами любовался. Когда же солнце склонилось к закату, я увидел мечеть, убранную богато. Но самым лучшим ее украшением были люди, достойные уважения, — ученые этой земли; сидели они в мечети и о грамматике спор вели. К ним поближе решил я расположиться — не для того, чтобы к мудрости приобщиться, а чтобы тучу их щедрости заставить дождем пролиться.

Но тут прозвучал муэдзина призыв, все пошли на молитву, спор прекратив, в ножны мечи вложив. Встали все по местам, вышел вперед имам[340], и меня отвлекло послушание от добывания пропитания, а земные поклоны — от поисков богачей, к беднякам благосклонных.

Когда же люди собирались пойти домой, выполнив долг священный свой, выступил вдруг человек средних лет, солидного вида, красиво одет и обратился к собранью учтиво с такою речью красноречивой:

— О соседи, вы ближе мне, чем родня, ваши жилища — прибежище для меня, с вами в отчий дом превратилась чужбина, как для Мухаммеда — Медина[341]. Знаете ли, что платье благочестивых

деяний лучше самых роскошных одеяний, что в этом мире лучше быть без одежды, чем на будущий мир потерять надежду, что вера — самый мудрый совет, что в ней одной — направляющий свет? Наставник достоин уважения, как и тот, кто просит его наставления. Твой брат настоящий — кто тебя укоряет, а не тот, кто всегда извиняет. Тот истинный друг, кто правду не скроет, а не тот, кто ошибки твои покроет.

И ответили ему присутствующие:

— О любящий друг, о друг наш любимый! Желание наше неутолимо: раскрой нам смысл твоих загадочных слов, сними с них искусно расшитый покров. Скажи, что ты хочешь от нас, — и просьбу твою мы исполним тотчас. Клянемся тем, кто нам дружбу твою подарил и нами семью тебе заменил, мы поможем тебе, чем сумеем, — ни советов, ни денег не пожалеем.

Он ответил:

— Пусть Аллах за добро вас наградит и от зла оградит! Не исходит из ваших душ кривды туман, не грозит собеседникам вашим ложь и обман. Не разочаруется в вас тот, кто в чем-то сомневается, — любая тайна вам открывается. Я скажу вам о том, чтó грудь мне терзает и терпенье мое истощает. Когда вы услышите об этом, помогите, прошу вас, мне добрым советом.

Знайте, однажды в годину ненастья, когда меня одолело злосчастье, я поклялся Аллаху, что праведно буду жить, обет ему дал вина не пить: не запасать его, не покупать, в компании пьяных не бывать. Но душа-соблазнительница мне нашептала и страсть-губительница подсказала старых приятелей навестить и снова по кругу чашу пустить. И вот я достоинство потерял — до потери сознанья вино сосал. Все чаще седлал я коня хмельного, чтоб о клятве забыть, напивался снова и снова. Подчиняясь шайтану, каждый вечер бывал я пьяным: даже в четверг я в вине утопал и в Светлую ночь[342], словно мертвый, спал. Но вот меня охватило унынье, в нарушении клятвы я каюсь ныне: куда меня увлекло вино? Неужели нет дороги иной?.. Терзает меня великий страх, что за отступничество накажет Аллах.

О, кто мне подскажет пути искупления,
Чтоб смыть перед богом мое прегрешение?

Продолжал Абу Зейд:

— Когда так жалобно закончил он речь, желая сочувствие в людях разжечь, я сказал себе: „Абу Зейд, не зевай, такую добычу не потеряй — засучи рукава и начинай!“ И я решительно поднялся, сквозь круг стоящих стрелою прорвался и сказал:

О муж достославный, ты ищешь того,
Кто снял бы с тебя кладь греха твоего.
Ты в думах тяжелых проводишь всю ночь,
Но знаю я средство, чтоб делу помочь,
Прошу я, послушай печальный рассказ —
Я горе свое изложу без прикрас:
В Серудже преславном я некогда жил,
Меня почитали — богатым я был.
К себе каждый день я гостей собирал,
Что тратил на них — никогда не считал.
Моим достояньем и гость мой владел —
Я щедростью честь охранить захотел.
В мой дом бедняки приходили толпой —
Имущество тает, а я как слепой.
На видных местах я огни зажигал,
Всю ночь их тушить никому не давал,
Чтоб видели путники: в доме моем
Найдут они кров и радушный прием.
Лишь молнии в тучах моих заблестят —
С надеждой на ливень все в небо глядят.
И каждый рассчитывать мог на успех:
Кремень мой рассеивал искры для всех.
И долго удача дружила со мной,
Доволен я был благосклонной судьбой,
Но волей своею Аллах изменил
Все то, к чему в жизни меня приучил:
Послал испытания тягостный час —
Румийцы[343] внезапно напали на нас.
Они налетели, как злой ураган,
И начали грабить дома мусульман,
И скот угоняли, и жен брали в плен —

Богатство мое обратилося в тлен.
Теперь я изгнанник в родной стороне,
Бродить без приюта приходится мне.
И тяжкое горе я в сердце ношу:
Давал я когда-то, а нынче прошу.
В такую жестокую впал я нужду,
Что гибели, как избавления, жду.
Беда никогда не приходит одна:
Любимая дочка моя пленена —
И требуют выкуп румийцы за дочь,
Но кто бесприютному может помочь?
К тебе я взываю: меня не гони,
А помощи руку скорей протяни!
Судьба надо мною насилье чинит,
Твоя лишь десница меня защитит!
Избавить от рабства мне дочь помоги:
Терзают ее нечестивцы — враги…
Так щедростью грех ослушания смой —
И вновь обретешь ты желанный покой!
Несчастному помощь решив оказать,
Ты можешь прощенье у бога снискать:
Коль щедрый покается в прошлых грехах,
Его покаянию внемлет Аллах!
Хотя и в стихах я совет тебе дал,
К Аллаху я правильный путь указал[344].
Совет мой от самого сердца идет —
Спасибо скажи: он ко благу ведет.
И щедрость такую сумей проявить,
Чтоб было легко мне тебя похвалить!

Продолжал Абу Зейд:

— Я кончил рассказ свой многословный — и мне поверили беспрекословно. Утешить меня собеседник решил — и свой кошелек предо мною раскрыл: хотя и немного он мне уделил, но подарок посулами увлажнил.

А потом я восвояси вернулся — и вновь своей хитрости улыбнулся: я не только проделку изобрел, но и прожиток себе приобрел, не только стихами пробавлялся, но и прибылью от них напитался!»

Говорит аль-Харис ибн Хаммам:

— Абу Зейда я выслушал и сказал: «Хвала тому, кто тебя создал! Как твои хитрости велики, как твои уловки мерзки!»

Абу Зейд, не смутившись, захохотал и тут же такие стихи сказал:

Без обмана прожить невозможно, мой друг, —
Ведь не люди, а дикие звери вокруг!
Если жизненных благ оскудели дожди —
Воду с поля чужого к себе отведи.
Не под силу победа тебе над орлом —
Так довольствуйся только орлиным пером.
Рви плоды, что висят над твоей головой;
Не дотянешься — что ж, насыщайся травой.
А настанут внезапно ненастные дни —
Беспокойные мысли от сердца гони.
Видишь, время изменчиво: нынче казнит,
Завтра щедрой рукою тебя одарит.

Перевод В. Борисова

Сасанская макама
(сорок девятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Когда к смерти стал Абу Зейд приближаться и трудно стало ему подниматься, раздул он угли, что в уме еще тлели, сына призвал к своей постели и сказал ему:

— Послушай меня, сын мой! Пора мне сурьмиться черной сурьмой: время пришло покинуть сей дом и туда уйти, куда все мы уйдем. Ты, Аллаху хвала, наследник мой — и над бродягами станешь главой: за собой поведешь ты братство Сасана[345] наподобие мудрейшего в стаде барана. Не пристало тебе заблуждаться и гаданьем на камешках заниматься: призван ты людей поучать, умы их до блеска начищать. И теперь, когда приходит прощанье, выслушай, сын, мое завещанье. Таких советов даже Шис[346] набатеям не давал, сам Якуб[347] так потомков не наставлял. Свято заветы мои сохраняй, ослушания избегай! Ты меня возьми за образец: делай все так, как делал отец. Если ты примешь мой совет и от меня позаимствуешь разума свет, будет твой дом наполнен добром — и поднимется дым очага столбом. Если же ты мой совет забудешь и следовать ему не будешь, очаг твой перестанет пылать — и люди станут тебя избегать.

О мой сын, я истины жизни познал, судьбы превратности испытал. Уважают того, у кого много слуг, не того, кто имеет много заслуг. Не тот в чести у нас, кто родовит, а тот, кто богатством знаменит. Четыре способа существования дают нам средства для пропитания: дела торговые и управление, ремесленный промысел и земледелие. Все четыре я испытал — и ни в одном успеха не знал:

текла моя жизнь не гладко, я не видел ни радости, ни достатка. Дела управления каждый день подвергаются изменениям. Доходы эмира неверны — зыбки они, как смутные сны, они готовы исчезнуть, как тень, что тает, как только уходит день. Кажется сладким кубок правленья, да горько похмелье при пробужденье! А жизнь купца — перелетной птицы полет, но птицу в полете всякое ждет: грозят ему и оскорбления и разорение от ограбления. А люди ремесленного звания трудятся только для пропитания. Богатым от ремесла не станешь: от каждодневных трудов устанешь — и даже достатка не достанешь. Что же касается земледельца, виноградника или пашни владельца, то занятие это — для чести ущерб: словно оковы мотыга да серп. Хозяин их окружен презреньем, для души не находит отдохновенья.

Я одно лишь знаю занятье, которое все дает, без изъятья: оно легко и на вкус приятно, доходно и для души отрадно; основу ему заложил Сасан, и с тех пор процветает Сасанов клан. У детей Сасана занятья пестры, и повсюду они разожгли костры: проникли они на Восток и на Запад — нищих и сирых влечет их запах. Мне так полюбились дела этих выжиг, что клеймо их братства я на лбу своем выжег. Ремесло их — рынок, что застоя не знает, источник, который не иссякает, светильник, который светит всем — и тому, кто крив, и кто слеп совсем. Сасаниды — самый сильный народ и самый счастливый из рода в род. Несправедливость их избегает, блеск меча их не пугает, жгучего яда они не боятся, ни близкому, ни далекому не хотят покоряться. Не страшат их ни молнии, ни громы, и людские тревоги им не знакомы. Весело им живется: все их племени удается! Всюду, где они ищут, готова им пища, куда ни прибудут, там и добудут, где пристанут, там и обманут. Не знают они родного стана, и нет над ними султана. Как птицы, утром они голодны, а к вечеру их животы полны.

Сказал сын:

— Отец мой, ты прав и совет твой здрав, но ты затемняешь, не проясняешь: как, не посеяв, урожай снимать и как на лету удачу поймать?

Отец ответил:

— Чтоб в деле Сасана преуспеть, надо быть быстрым — всюду поспеть. Ум проницательный надо иметь и смелость в кармане — чтобы посметь. Будь же, мой сын, проворней птицы, лукавей лисицы, стань шакала ночного хитрей, голодного волка наглей. Кремнем

усердия счастье свое высекай, в дверь удачи стучать не уставай. Не ленись, обойди все пути, в каждый колодец ведро опусти, пастбище в каждой долине найди, в любую пучину, коль надо, войди. Проникнуть всюду старайся, просить не стесняйся. Ведь Сасан на посохе своем начертал слова, что потомкам завещал: «Кто бродит — находит, кто ищет — снищет!»

Нерадивым не будь — это знак злосчастья: лень рядит людей в одежды несчастья. В ней зародыш усталости, лень ведет к старости. Это — ключ к нужде, это — путь к беде. Она — признак глупости, слабости, тупости. Тот, кто хочет сладкого меда вкусить, о лени должен забыть; тот, кто хочет добычу поймать, долго не должен спать.

Будь смелым, не прячься, присмирев, даже если тебя преследует лев, — только неустрашимость развяжет язык и придаст решимость. Без нее не достигнешь ни богатства, ни уважения, ни высокого положения. Лень ведет к расслаблению, расслабление — к поражению, всякому делу она мешает, надежды людские разрушает. Поэтому сказано в пословице, что счастье только дерзкими ловится: «Удалой — удачлив, трус — незадачлив». С птицами ты, сынок, вставай, львиную храбрость проявляй, как хамелеон, будь упорен и цепок и волчьею наглой ухваткою крепок, прожорливым стань, как дикий кабан, будь проворным, словно степной джейран! Если надо, хитрой лисой обернись, у верблюда терпению научись. Коль нужно, стань умильным котом, а то, как сорока, пестрым махни хвостом. Будь Касира[348] хитрей, любезней аш-Шааби[349], Амра[350] мудрей. Стань, как аль-Ахнаф[351], терпеливым, словно Ияс[352], прозорливым. Как Абу Нувас[353], будь бесстыден в речи, у Абу-ль-Айна[354] научись красноречию: людей отливкою фраз плени и словами красивыми обмани. Но прежде чем разложить свой товар, ты разузнай, каков нынче базар, смажь сосцы, до того как доить, расспроси о дороге, прежде чем уходить, по полету птиц сумей предсказать[355] — и начало следов с их концом связать. Кто заботу о делах проявляет, того и радость не покидает, а кто небрежность допускает, тот и добычу упускает. Тяжкой ношей себя не обременяй, зря красотками ум не занимай, людям лишними просьбами не докучай. Моросящим дождичком будь доволен — вызвать ливень с небес никто не волен. Благодари и за жалкие крохи: знай, сынок, никакие дары не плохи. Не горюй, если получишь отказ, — и камень струйку даст иной раз, не

теряй на милость Аллаха надежду, не верит в нее лишь неверный — невежда[356]. А если выбрать тебе предстоит меж зернышком, что на ладони лежит, и жемчужиной, что море только сулит, ты себе зернышко выбирай: день нынешний завтрашнему предпочитай. У отсрочек привкус неприятный: к цели идешь и вдруг — ход обратный. Посуливший всегда найдет извинение — далеко от посула до исполнения. Будь терпеливым и терпимым, усмири характер неукротимый. Когда деньги тратишь, будь умерен: расход с доходом должен быть сверен. Не держи ладонь беспечно разжатой, пусть не будет она и вечно сжатой.

Если встретишь в городе плохой прием, если что-то тебе не понравится в нем, все связи с ним порвать торопись и скорей на верблюда садись. Ищи страну, где обильна еда и где не подстережет беда. Не считай путешествие за мучение — тебе на благо передвижение, ведь все ученые нашего времени и славные шейхи сасанова племени — все в один голос утверждают, что путники печали не знают и прибыль великую получают. Они порицают тех людей, что боятся расстаться с землей своей, что в далекий путь страшатся пуститься и весь свой век довольны крупицей. Но если ты решил двинуться в путь, не только посох с сумой не забудь — друга верного нужно тебе найти, прежде чем в дорогу пойти. Дома не строят, не выбрав соседа, а в дороге сосед — с кем мила беседа.

Звездой путеводною стань, мой совет!
Прими его, сын, как отцовский завет.
Такого совета никто не давал,
Чтоб столько премудрости он содержал.
Я каждое слово обдумывал в нем,
Полезные мысли я пролил дождем.
Согласно завету теперь поступай
И мужем разумным по жизни ступай!
Чтоб люди сказали: «Вот истинный львенок:
У мудрого льва он набрался силенок».

Ты выслушал, сын, мое завещание — да станет полезным увещание! Хвала тебе, коль послушным будешь, горе, если его

забудешь. Я уйду, но Аллах следить за тобою станет. Надеюсь, что сын ожиданий моих не обманет…

И ответил сын:

— О мой родитель, ты мне единственный повелитель: пока не пришли минуты прощальные, твой трон — не носилки погребальные. Ты дал такой правильный завет, разумней которого в мире нет: так ясно ты обозначил пути, по которым следует мне идти. Поверь же, отец, что, если придется мне пережить твой конец (избави бог сию горечь вкусить!), я, подобно тебе, стану праведно жить, по твоим стопам тенью буду ходить! Чтобы люди сказали: «Сегодня ночь подобна вчерашней ночи точь-в-точь! Хоть вечернее облако уплыло, такое же утром его сменило».

Абу Зейд от радости задрожал, улыбнулся наследнику и сказал:

— Твою мать ни в чем нельзя обвинить: моего ты семени нить!

И заключил аль-Харис ибн Хаммам:

— Мне сказали, что, когда сасаниды заветы старца узнали, предпочли они их заветам Лукмана[357], наизусть затвердили, как «Мать Корана»[358]. И поныне словно святыню их почитают, для детей своих лучшим уроком считают и на золото их не променяют.

Перевод В. Борисова

Басрийская макама
(пятидесятая)

Рассказывал аль-Харис ибн Хаммам:

— Такое унынье однажды мной овладело, что из рук валилось любое дело. А я слышал, что священных мест посещенье дарует душе исцеленье. И вот, чтобы угли тоски погасить, я решил Басрийскую мечеть посетить: она во все времена ученого люда была полна. Застал я там множество признанных мудрецов и к источникам знания припавших юнцов. Слова под сводами, словно птицы, звенели, а в углах сверчками перья скрипели. Под этот шум в мечеть я вошел, взглядом собравшихся обвел — и на возвышенье посреди мечети старика в ветхой одежде приметил. Вознесясь над всеми, он речь держал, несметной толпой народ его окружал.

Устремился к нему я, как на водопой — чтоб утолить души моей зной. Я стал пробираться в середину, толкая людей и в бока и в спины, пока не уселся напротив него — и узнал в нем друга своего! Это был Абу Зейд, без сомнения! И его лицезрение рассеяло мои горести и мучения.

Когда Абу Зейд меня увидал, он собравшимся такие слова сказал:

— О жители Басры, Аллах даровал вам заботу свою — вы живете словно в раю! Как деяния ваши благородны, как ваши качества превосходны, как ваши угодья плодородны! Город ваш — воплощение чистоты[359], невиданной красоты. Пастбища ваши так велики, просторы Тигра так широки! Ваша кибла[360] правильней всех других! Сколько рек вокруг, сколько пальм на них!

Ваш город — преддверье святого храма, оплот ислама! Ты, Басра, — крыло из двух крыльев мира[361], благочестием славятся дела твоего эмира. Языческий смрад не грязнил тебя: ты не знала ни идолов, ни храмов огня[362], одному лишь Аллаху ты навек подчинилась, только милостивому[363] молилась. В Басре так много мест святых, мечети ее не бывают пусты. Мужи ученые в этот город съезжаются, здесь наукой умы их питаются. Гробницы Басры благословенны, и границы ее неприкосновенны. Корабли здесь встречаются и караваны, морские киты и степные джейраны, бедуин и работящий феллах, горожанин оседлый и бродяга-моряк, лучник и рыбы речной ловец, копейщик и пастырь пугливых овец. А как приливы в Басре бурливы, как далеко отходят отливы!..

Что касается вас, басрийских жителей, то и среди врагов нет ваших хулителей. О ваших достоинствах никто не спорит, непослушанье властям вас не позорит. Вы — самые набожные из правоверных, путей вы ищете самых верных. Ваш ученейший муж — мудрец всех времен: на века труд великий им совершен[364]. Среди вас был тот, кто основы грамматики заложил[365], и тот, кто стихам размеры определил[366]. Все у вас есть, чем можно гордиться, — басриец первым быть стремится в делах справедливых, в занятиях благочестивых. Вы молитву в день Арафата[367] установили и в час розговенья первыми рынки открыли[368]. Громче всех муэдзины в Басре взывают, на рассвете с постелей людей поднимают, о начале молитвы возвещают и в зимний холод, и в летний зной, поют голоса их, словно ветер морской. Ведь известно предание, от пророка идущее назидание: «В Басре клич муэдзинов об утренней благостыне далеко будет слышен, как гудение пчел в пустыне». Слава Басры, предсказанная пророком, разлилась по миру широко. Этой славы в веках не умолкнет звон, даже если ваш город будет дотла разорен и судьбою с лица земли сметен…

Тут Абу Зейд приостановился, поток славословий его прекратился, а люди смутились и испугались, что на этом все речи его оборвались. И так печально вздохнул старик, словно час расплаты его настиг, будто грозные мстители перед ним очутились или львиные когти в тело его вонзились. Потом продолжал:

— О жители Басры, вы знамениты своими деяниями, многознанием и благодеяниями! Я, увы, не таков — и кто меня знает, тот поймет, что меня терзает. Но худший из наших знакомых тот, кто знанье о нас против нас повернет… А кто не знает меня и хочет узнать, от того я не буду правду скрывать: и в Тихаме и в Неджде[369] я бывал, и Йемен и Сирию проезжал, по пустыне ходил, по морю плыл, и ночью и днем в путь выходил. Средь людей оседлых я в Серудже родился, но всю свою жизнь в седле находился. Во многих делах я был сноровистым: укрощал коней норовистых, в ущелья узкие проникал, запертые замки открывал, в схватки и стычки не раз вступал, умел я и камень растопить и скалу в куски раскрошить.

Спросите вы Запад и Восток, того, кто низок, и того, кто высок, спросите всадников отряды, спросите людей в бедуинских нарядах, у бродячих рассказчиков обо мне узнайте, купцов и шейхов попытайте: скажут они, сколько я дорог прошагал, сколько покровов разрывал, каким опасностям подвергался, в какие битвы бросался, скольких умных людей мне удалось обмануть, к каким проделкам нащупать путь, сколько раз я противился злой судьбе, сколько львов победил в неравной борьбе, сколько парящих с небес спускал, сколько тайн заклинаньем своим прояснял. И хитрость моя так гранила камень, что и в нем загорался щедрости пламень…

Но сочный побег давно засох, седым стал черный висок. Лицо в морщинах, как старый бурдюк, тело согнулось, словно высохший сук. Плащ моей молодости давно истрепался, лишь раскаянья груз на мне остался. Все ясней я вижу своей жизни огрехи и кое-как латаю прорехи. Давно мне известно из рук самых верных и сведений достоверных, что господа нашего всевидящий глаз каждый день неустанно смотрит на нас, что в битве молитва для нас полезнее, чем боевое оружье железное.

Во весь опор я верблюда гнал — и вот пред вами теперь предстал, но подношений не жду и не ждал: теперь я из тех, кто ищет лишь для души покоя и пищи. Я не прошу милости вашей дождем пролиться — лишь молю вас Аллаху обо мне помолиться, за меня перед ним заступиться, чтоб я мог с покаянием к нему возвратиться. Всевышний молитвы людские приемлет, всепрощающий он — и раскаянью рабов своих внемлет.

Затем Абу Зейд продекламировал:

За грехи я у бога прощенья прошу —
Преступил я в долах своих чести межу:
Надвигалась ли ночь, или день наступал —
Я, заблудший, в пучину порока вступал.
О, как часто я слушался низких страстей,
Соблазнял и обманывал честных людей.
Я в погоне за выгодой совесть терял —
Быть греховным ослушником не уставал.
Сколько я сотворил омерзительных дел,
Не желал ослушанью поставить предел.
О, когда бы ничтожным и жалким я был,
Непокорства не ведал и зла не творил!
Лучше трупом безгласным в могиле лежать,
Чем запреты Аллаха всю жизнь нарушать.
Как я грешен, о боже, помилуй меня
И прощенье даруй, за грехи не кляня!

Продолжал рассказчик:

— И каждый усердно за старца Аллаха молил, а старец к небу свой взор устремил — его волнение охватило, и взгляд его слеза замутила. И вдруг он воскликнул так:

— О Аллах великий, я вижу твой знак! Молитве ты, всепрощающий, внял — и с души пелену сомнений снял. Вы, жители Басры, подарили мне избавление, от божьего гнева спасение — вы достойны высокого награждения!

Тут басрийцы радость свою проявили — чем могли, раскаявшегося одарили. Абу Зейд принимал их подношения, не скупясь на благодарения. Затем с возвышенья спустился, со слушателями простился и пошел, направляясь к реке, а я за ним следовал невдалеке. И вскоре мы уединились, от глаза чужого освободились. Я сказал ему:

— Ты вел себя странно на этот раз. Или ты каялся не напоказ?

Абу Зейд ответил:

— Клянусь тем, кто тайны людские знает и прегрешения прощает, чудо свершилось в моей судьбе: Аллах внял басрийцев твоих мольбе.

Я призвал к нему божье благоволение и попросил подробного объяснения.

Абу Зейд молвил с просветленным лицом:

— Клянусь я твоим отцом, был я обманщиком и лицемером, но, покаявшись, стал для грешных примером. Благо тому, кто сердца к себе привлекает, горе тому, кто проклятьем их наполняет.

Абу Зейд попрощался и удалился, но с того дня шип сомнений в сердце мое вонзился: мне хотелось правду о старце узнать, но никто не мог ни слова о нем сказать. Караванщиков я напрасно пытал, у странников о нем узнавал, но вестей не слышал о нем никаких, словно спрашивал я у скал глухих. И вот после долгих промедлений, огорчений и сокрушений я встретил однажды караван, идущий из очень далеких стран. Спросил я у путников незамедлительно, что они видели в пути удивительного.

И караванщики сказали:

— Мы видали событие чрезвычайное, явление необычайное, никакое чудо с ним не сравнится — ни зоркая Зарка[370], ни феникс-птица!

Я в нетерпении попросил у них разъяснения. И путники продолжали:

— Мы Серудж проезжали после того, как город покинули византийцы, и видели Абу Зейда, знаменитого серуджийца. Был он в плащ шерстяной одет[371] и вел себя словно подвижник-аскет. На молитве он предстоял как имам…

Перебив, я вскричал:

— Неужели то был герой макам?!

Они сказали:

— Теперь это муж благочестивый, праведник, всеми чтимый…

С тех пор стал я случай искать, чтоб вновь Абу Зейда повидать. И вот, снарядившись в путь, я отбыл в Серудж, чтоб на старца взглянуть. И очутился я с ним рядом, в час, когда он был занят священным обрядом: у михраба[372] в мечети он стоял и пред толпой молитву читал. Он был в шерстяную абу одет, которой было не меньше ста лет. При виде старца я страх испытал, как тот, кто в логово льва попал: на лице Абу Зейда я увидел искреннее смирение — и долго не мог унять волнения.

Когда он кончил молитву читать и четки перебирать, он кивнул мне, ничего не сказав, ни о нынешних, ни о прошлых делах вопроса не задав, и так прилежно и рьяно вновь принялся за чтенье Корана, что я позавидовал его усердию в достижении божьего милосердия. Абу Зейд беспрестанно поклоны бил — всецело Аллаху покорным был, падал ниц и снова поднимался, в пояс кланялся и выпрямлялся, на колени старательно опускался — предписаниям Аллаха повиновался и с вечерней молитвой лишь под утро расстался. Потом Абу Зейд в свой дом меня пригласил и пищей простою угостил. Затем в молельню он удалился и, с Аллахом беседуя, там находился до тех пор, пока не взошла заря, благочестивцу отдых даря. Завершая молитву, он богу хвалу воздал, покойную позу на ложе принял и такие стихи нараспев сказал:

Перестань навсегда о весне вспоминать,
О разлуке с любимыми горько вздыхать.
И стоянки весенние брось навещать —
То, что было, ушло, не воротится вспять.
Ты оплакивать должен прошедшие дни,
Что на жизненном свитке ты сам зачернил:
На свои прегрешенья ты честно взгляни,
Поразмысли о том, как ужасны они.
Сколько буйных ночей ты в разгуле провел,
Сколько мерзостных хитростей ты изобрел!
Ты позорные речи в застолиях вел,
В упоении к ложу разврата ты шел.
Сколько раз ты от правды к неправде бежал,
Сколько раз ты грехом свою честь унижал.
Как бездумно ты клятвы свои нарушал
И забавы раскаянью предпочитал!
Ты Аллаха сердил ослушаньем своим,
Непокорностью ты похвалялся пред ним,
Не боялся того, кто, неслышим, незрим,
Счет ведет недостойным поступкам твоим.
Милость господа ты отвергал столько раз,
Словно рухлядь, отбрасывал божий приказ!
Не дрожал ты, услышав божественный глас,

И греховный огонь в тебе долго не гас.
Как безумный, ты низким страстям потакал,
Ты к обману привык и бессовестно лгал,
Обещанья Аллаху ты щедро давал,
Только слова ни разу, увы, не сдержал.
Так надень покаяния платье скорей
И горючие слезы потоком пролей —
Пока ты не дошел до конца своих дней,
Пока тлеет огонь бренной жизни твоей!
Перед богом склонись, признаваясь в грехах,
Ведь прибежище грешного — только Аллах.
Страсти прежние вытеснит праведный страх.
Твой надежный советчик в делах и словах.
О, доколе ты будешь сбиваться с пути?!
Оглянись! Сколько лет ты успел провести,
Не пытаясь заблудшую душу спасти,
Чтобы милость Аллаха навек обрести.
Иль не видишь — подкралась к тебе седина,
В волосах прочертила дороги она,
А когда покрывает висок белизна —
Впереди уже близко могила видна.
Ты постыдных желаний, душа, сторонись,
Быть покорной Аллаху упорно стремись,
Будь правдивой и добрых советов держись,
О своей чистоте неустанно пекись.
В жизни предков себе поученье найди,
Мысли мудрые их наизусть затверди
И внезапной кончины безропотно жди,
Страх пред нею храня постоянно в груди.
Без оглядки ты двигайся правым путем.
Помни: к смерти мы быстро по жизни идем
И пристанище завтра себе обретем
В доме темном, глубоком, холодном, пустом.
Да, ужасен могилы безвыходный плен,
Той обители мрачной, где царствует тлен.
Это келья в три локтя без окон, без стен.
И великий и малый — там каждый презрен.

Чередой непрерывною люди идут
К этим кельям унылым, что каждого ждут.
Здесь находят они свой последний приют,
Но с собою сюда ничего не возьмут.
Все равно, будь ты глуп или будь ты умен,
Неимущ иль богатством, как царь, наделен,
Ты от участи этой не будешь спасен:
Час настанет — ты будешь в земле погребен,
А потом, в День тяжелый, толпой поведут
Всех усопших к Аллаху, вершащему суд,
И слуга и хозяин окажутся тут,
И владыка и раб — все по зову придут.
И того, кто всю жизнь в божьем страхе живет,
В Судный день награжденье великое ждет:
Ведь ему не грозит за проступки расчет —
В сад блаженства в тот день он по праву войдет.
Но потерпит урон, кто людей угнетал,
Справедливость топтал и добро попирал
Или ради корысти войну разжигал, —
О расплате не думал, расчета не ждал.
О Аллах, упованья к тебе возношу,
У тебя одного я защиты прошу.
С содроганьем на прежнюю жизнь я гляжу —
И сурово себя за ошибки сужу.
Пожалей, о господь мой, раба своего!
Согрешил он, но чтит он тебя одного,
Слезы льет он потоком — прости ты его!
Милосердней тебя в мире нет никого!

Продолжал аль-Харис ибн Хаммам:

— Абу Зейд тихим голосом стихи читал, вздохами тяжкими каждую строчку сопровождал — и я с ним заплакал от сочувствия и умиления, как оплакивал раньше его прегрешения. Пошел он в мечеть, а омовением послужило ему ночное бдение. И я к молитве пошел вслед за ним. И молился, как все: за имамом своим.

А когда стала паства расходиться, пастырь, как и вчера, продолжал усердно молиться. При этом он то стонал, как мать, потерявшая всех детей, то рыдал, как Якуб[373], у которого нет о сыне вестей. Тут стало мне ясно, что слухи о праведности его не напрасны, что Абу Зейд уединения ищет. И я решил, что старец не взыщет, если я оставлю его, молящегося, одного.

Но он словно мысли мои прочитал и намерение тайное разгадал. Глубоко вздохнув, он взгляд на меня перевел и слова из Корана мне привел:

— Если решился, за дело берись — и на Аллаха положись…

Так я убедился, что не зря утверждают, будто праведники скрытое постигают. Попросил я у старца благословения и промолвил в смирении:

— О наставник, дай мне совет: как мне дальше идти по склону лет?

Абу Зейд ответил:

— Всегда помни о смерти в конце пути, а теперь прощай: нам с тобою по разным дорогам идти…

Слезы из глаз моих побежали, а вздохи ключицы мои вздымали.

Так мы расстались — и больше друг с другом никогда не видались.

Перевод В. Борисова

Примечания к макамам 1, 3, 5, 7, 8, 10—15, 19—21, 23, 25, 29, 30, 34, 35, 38—41, 43, 45—47 составлены А. А. Долининой; к макамам 2, 4, 6, 9, 18, 27, 31, 37, 48—50 — В. М. Борисовым.

1 р. 30 к.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Royallib.ru

Оставить отзыв о книге

Все книги автора

---

notes

Примечания

1

Д. С. Лихачев. Поэтика древнерусской литературы. Л., 1967, с. 354—359.

2

Там же, с. 358.

3

Н. И. Конрад. Запад и Восток. М., 1969, с. 97.

4

Цит. по: *А. Е. Крымский.* Арабская поэзия в очерках и образцах. М., 1906, с. 283.

5

К. Маркс и Ф. Энгельс о литературе. М., 1958, с. 285.

6

Гейне. Избранное. М., 1950, с. 389.

7

См.: Всеобщая история литературы. Т. 2. СПб., 1885, с. 357—360; «Сын отечества». Ч. 107, 1826, № 11, с. 251—263; 1830, № 26, с. 420—427; «Телескоп», 1832, № 10, с. 474—484; «Отечественные записки». Т. 58. 1848, № 6, с. 124—127; «Азиатский вестник». Ч. 1, 1825, с. 52—56 и 267—275.

8

См. «Телескоп», 1832, № 10.

9

Об этом подробнее см. в нашей статье «Макамы аль-Харири и принципы их художественного перевода» («Народы Азии и Африки». 1972, № 2). Перевод макам Хульванской, О двух динарах, Дамиеттской и Ширазской был опубликован нами в журн. «Литературный Азербайджан» (1972, № 2).

10

Les séances de Hariri. Publiées en arabe, avec un commentaire choisi M. …Silvestre de Sacy. P., 1822.

11

Сана — столица Йемена, один из древнейших городов на Аравийском полуострове.

12

Да́ник — денежная единица, равная $^{1}/_{6}$ дирхема (см. примеч. 34 к макаме 4), небольшая серебряная монета.

13

…в страшный час, когда всем протрубит труба… — В день Страшного суда.

14

…ведь душа твоя — злейший враг для тебя! — Намек на изречение, приписываемое Мухаммеду: «Самый великий враг твой — душа твоя, которая меж твоих боков».

15

Ка́аба (Каба) — главный мусульманский храм («заповедная мечеть»), находится в Мекке. Имеет форму куба, в одно из ребер которого вмонтирован «черный камень» (осколок упавшего метеорита) — величайшая святыня мусульман.

16

Серудж — город в Северном Ираке.

17

Хульван — город в средневековом Ираке на пути от Багдада к Хамадану.

18

Сана — см. примеч. 11 к макаме 1.

19

Сасаниды — иранская царская династия (224—651). См. также примеч. 209 к макаме 30.

20

Гассаниды — династия южноарабского происхождения, правившая в VI — начале VII в. в арабском буферном государстве, расположенном на территории Сирии по границе с Византией.

21

Колоквинт — стелющееся травянистое растение семейства тыквенных, имеющее очень горькие плоды.

22

Диван — здесь — сборник стихов.

23

Абу Убада аль-Валид ибн Убейд аль-Вухтури (820—897) — известный арабский поэт традиционного направления.

24

Бейт — стих, составленный из двух полустиший, рифмовка которых не обязательна.

25

Жемчуг пролился… — Жемчуг — слезы; роза — щека; белоснежный град — зубы.

26

Красавица в горести кончик банана… — Банан — палец; жемчужины — зубы; черная ночь, сумрак — волосы; прелестный день, свет — лицо; гибкая ветвь — стан.

27

Динар — денежная единица, золотая монета весом ок. 4,23 г.

28

…с племенем Кайлы породнил… — Кайла бинт аль-Аркам — гассанидка (т. е. представительница южноарабского племени гассан), к которой возводят свое происхождение мединские земледельческие племена аус и хазрадж.

29

Хамси́н — жаркий, сухой ветер, несущий песчаную пыль.

30

Наси́м — легкий ветерок.

31

…*нет греха на хромом*… — Перефразированная цитата из Корана (сура 48, ст. 17), в которой говорится, что слепые, хромые и больные могут не участвовать в войне за веру.

32

Дамиетта — город и одноименная провинция в дельте Нила у Средиземноморского побережья.

33

Колоквинт — см. примеч. 21 к макаме 2.

34

Дирхем — денежная единица средневекового мусульманского Востока — серебряная монета весом от 2,82 до 2,96 г (ок. $^{2}/_{3}$ мискаля; см. примеч. 73 к макаме 10).

35

…как ждут в рамадан торжества розговенья… — Рамадан — месяц поста у мусульман. Пост состоит в полном воздержании от пищи, питья и каких бы то ни было удовольствий в течение всего дня, от рассвета до наступления темноты; ночью же все запретное становится дозволенным. Пост завершается торжественным праздником розговенья, начинающимся с того момента, как на небе станет заметен серп нового месяца, возвещающий окончание рамадана.

36

«Вкусив, уходи!» — Перефразированная цитата из Корана (сура 33, ст. 53), в которой речь идет о правилах поведения для мусульманина, посещающего дом пророка, в частности о том, что гостям не следует в этом доме задерживаться.

37

Ку́фа — город в средневековом Ираке, основанный арабами на одном из западных притоков Евфрата; славился как культурный центр. Ныне не существует.

38

…*словно лай приглушенный*… — Заблудившийся ночью путник часто подражал собачьему лаю, чтобы ему ответили собаки близлежащего селения или становища.

39

Милосердный — один из 99 эпитетов Аллаха (ср. примеч. 5 к макаме 50).

40

…как сердце матери Мусы, пустым был мой кошелек. — Намек на 28-ю суру Корана (ст. 9), излагающую вариант библейского рассказа о Моисее (араб. Муса).

41

Клянусь я тем, кто Каабу основал… — Основателем Каабы (см. примеч. 15 к макаме 1), по мусульманским представлениям, был пророк Ибрахим (библ. Авраам).

42

Калам — тростниковое перо.

43

Зека́т — предписываемая Кораном милостыня, собираемая с взрослых мусульман в пользу бедняков, вдов, одиноких женщин, сирот и немощных. Размер зеката, взимаемого с домовладений и доходов с торговли и ремесла, — 2,5%; со скотоводства он мог быть повышен до 12%.

44

Нету Зейда, хоть я и зовусь по нему… — Абу Зейд означает «отец Зейда»; наименование по сыну считается у арабов почетным, поэтому люди бездетные или родители умерших детей нередко берут себе подобное наименование.

45

Аль-Асмаи Абд аль-Мелик ибн Кариб (740—828) — знаменитый арабский филолог, собиратель устного творчества древних поэтов; легенда называет его автором позднесредневекового романа об Антаре. Он часто выступает как герой фольклорных анекдотических историй о хитрецах.

46

Аль-Кумейт ибн Зейд аль-Асади (679—743) — средневековый арабский поэт, отстаивавший принципы шиизма — одного из основных направлений в исламе, объединяющего сторонников партии (шиа) Али, зятя Мухаммеда. Отличался обширными познаниями в религиозных науках, законоведении и генеалогии.

47

Мерага (Мераге) — город в Иране.

48

Диван — здесь — правительственная канцелярия.

49

…*имена*… — Согласно арабской грамматической науке, категория имени включает все склоняемые части речи.

50

Баркаид — средневековый арабский город в Северной Месопотамии (к северо-западу от Мосула); ныне не существует.

51

День розговенья… — см. примеч. 35 к макаме 4.

52

…как ифрит, безобразной старуха была… — Ифрит — злой дух (см. также примеч. 83 к макаме 12). Женщинам в мечеть входить было не положено, чтобы не соблазнять молящихся. Старуха (к тому же безобразная!) в расчет могла не приниматься.

53

…*чьи руки влагой полны*… — Влага — синоним щедрости.

54

Корку хлеба иль рубашку // Мне пошлет ли добрый случай? — Согласно мусульманскому преданию, просить милостыню в мечетях запрещено Аллахом, но подавать ее дозволено. Хитроумный нищий обходит запрет с помощью листков со стихами, в которых он жалуется на нужду.

55

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

56

Ибн Аббас — Абдаллах ибн аль-Аббас (ум. в 688 г.) — сын дяди пророка Мухаммеда, родоначальник династии Аббасидов. Был известен знанием мусульманского предания, сметливостью и догадливостью, носил прозвище «ученый общины» (хибр аль-умма).

57

Ияс ибн Муавия (ум. в 739 г.) — правитель Басры при омейядских халифах, прославился своей справедливостью и умом, вошедшими в пословицу.

58

Аль-Маа́рра (Маарра́т ан-Номан) — город в Северной Сирии. Полное название дано по имени основателя города Номана ибн Башира, правителя Химса и Куфы (VII в.).

59

Ка́ди — судья в мусульманском суде.

60

Клянусь я камнями святых городов… — т. е. Мекки и Медины.

61

Динар — см. примеч. 27 к макаме 3.

62

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

63

Так изведал я дороги Ма́гриба и узнал пути Машрика… — Машрик — Восток, *Магриб* — Запад. Этими названиями обозначались также восточная и западная части арабского мира.

64

Кади — см. примеч. 59 к макаме 8.

65

Александрия — город в Нижнем Египте на побережье Средиземного моря.

66

Гассаниды — южноарабское племя, к которому принадлежала одна из доисламских царских династий (см. примеч. 20 к макаме 2).

67

Аль-Фарáздак (641—732) — арабский поэт. Постоянно ссорился со своей женой ан-Наварой, но, разведясь с ней, очень об этом сожалел.

68

Пастух аль-Кусаий сделал лук и пошел ночью охотиться на диких ослов. Пустив пять стрел, он решил, что не попал в ослов так как стрелы выбивали искры в скалах. Раздраженный аль-Кусаий сломал лук, а утром увидел, что ослы убиты, насквозь пронзенные стрелами.

69

Рахба — город в верховьях Евфрата.

70

Ва́ли — лицо, осуществляющее светскую власть в городе или провинции.

71

Ас-Сулейк ибн Са́лака ат-Темими славился в доисламскую эпоху как скороход и лучший знаток всех дорог в Аравии. Его имя вошло в пословицу.

72

Двух свидетелей полномочных… — По мусульманскому закону свидетелями могут быть совершеннолетние правоспособные мусульмане-мужчины, имеющие хорошую репутацию. Если истец не может представить надежных свидетелей, то он может потребовать, чтобы ответчик поклялся в своей невиновности.

73

Мискаль — мера веса, употреблявшаяся, в частности, для серебряных и золотых монет (дирхемов и динаров), ок. 4,235 г. Как денежная единица 1 золотой мискаль равен 1 динару, 1 серебряный мискаль — ок. 1,5 дирхема. В данном случае имеются в виду, очевидно, серебряные мискали.

74

…*освободится яйцо от цыпленка.* — Поговорка, употребляемая в тех случаях, когда освобождение от обязательства связано с определенным сроком, местом и т. п. Появление ее возводят к рассказу о бедуине, взявшемся сопровождать купца только до какого-то определенного места, сказав ему, что в этом месте «освободится яйцо от цыпленка».

75

…как волк неповинен в убийстве Якубова сына… — Намек на суру 12 Корана, излагающую вариант библейской истории Иосифа Прекрасного. Братья, продавшие Юсуфа (Иосифа) в рабство, солгали отцу, что его разорвал волк.

76

Аль-Муталяммис аль-Бекри — арабский поэт доисламской эпохи (VI в.). Аль-Харири намекает на известную историю с письмами хирского князя Амра, врученными аль-Муталяммису и его племяннику, знаменитому поэту Тарафе, для передачи эмиру Бахрейна. Разгневанный на непочтительных поэтов, Амр в своих письмах рекомендовал эмиру немедленно казнить их подателей. По дороге аль-Муталяммис, подозревавший недоброе, попросил одного из хирских юношей-христиан прочесть письмо (сам он был неграмотен); узнав содержание, он бросил письмо в реку и поспешил вернуться к своему племени.

77

Хусейн ибн Али — сын последнего «праведного» халифа, вождь шиитов (см. примеч. 46 к макаме 5), погибший в 680 г. при попытке поднять восстание против омейядского халифа Язида I. Считается у шиитов великомучеником, день его смерти отмечается ежегодно как день великой скорби.

78

Но лишь туфли Хунейна они добывали! — Перефразированная пословица, употребляемая, когда человека постигает разочарование. Возводят ее к рассказу о хирском сапожнике Хунейне, у которого один бедуин торговал туфли, но, не сойдясь с ним в цене, ушел. Хунейн спрятался у него на пути и подбросил сначала одну туфлю, потом вторую. Бедуин первую туфлю не взял, но, увидев на дороге вторую, сошел с верблюда, поднял ее и вернулся за первой. В это время Хунейн увел его верблюда с поклажей.

79

Сава (Саве) — небольшой город в Северо-Западном Иране.

80

Динар — см. примеч. 27 к макаме 3.

81

…ляжет мост над преисподней… — По мусульманским представлениям, над адским огнем проложен мост, тоньше волоса и острее лезвия ножа. Кто благополучно пройдет по нему — избегнет наказания в загробном мире.

82

Дамасская Гута — окрестности Дамаска, омываемые рекой Барада и изобилующие садами.

83

Джинн — общее наименование для духов, как добрых, так и злых; последние чаще называются ифритами.

84

Ас-Сама́ва — оазис в пустыне по границе Сирии и Ирака.

85

Фа́тиха — букв. «Открывающая», первая сура Корана, часто читаемая как молитва.

86

Ана — провинция в Ираке, расположенная на р. Евфрат в славящаяся своим вином.

87

Хали́ф — «наместник пророка», глава мусульманской общины и государства.

88

Багдад — столица Аббасидского государства (см. также примеч. 94 к макаме 14 и примеч. 205 к макаме 30).

89

Тигр — река в Ираке, на берегах которой расположен Багдад.

90

Опустела рука наша правая… — В подлиннике в этом месте отсутствие рифмы компенсируется четким параллелизмом.

91

Ра́вий — в дописьменную эпоху хранитель устной поэтической традиции того или иного поэта (чаще всего его сын или ближайший ученик), позже — собиратель поэтических памятников.

92

Хансá (Тумадыр бинт Амр) — арабская поэтесса доисламской эпохи (VII в.), знаменитая многочисленными элегиями на смерть своих братьев Сахра и Муавии — героев племени сулейм.

93

Мекка — священный город мусульман; в нем находится главный мусульманский храм — Кааба, к которому мусульмане совершают паломничество (см. также примеч. 5 к макаме 1).

94

Дар ас-Салам — «Город мира», т. е. Багдад. Ас-Салам («Мир») — одно из наименований р. Тигр, на которой Багдад расположен.

95

Хаджж — один из пяти «столпов» веры, т. е. обязательных требований, которые ислам предъявляет к верующим, паломничество в Мекку, приуроченное ко времени праздника жертвоприношения (10-го числа мусульманского месяца зуль-хиджжи), связываемого с легендой о постройке Каабы пророком Авраамом (Ибрахимом). Во время паломничества выполняется ряд строго установленных церемонии.

96

…и телесную сладость снова вкусить были рады… — Во время исполнения обрядов хаджжа на мусульманина налагается ряд запретов (в том числе запрет на супружеские отношения, охоту, уход за волосами и ногтями и т. д.).

97

Даник — см. примеч. 12 к макаме 1.

98

Лубья — вид фасоли.

99

Кас́ыда — длинное стихотворение-монорим.

100

Диван — см. примеч. 22 к макаме 2.

101

Обещание Уркýба. — Поговорка, употребляемая в тех случаях, когда выполнение обещания намеренно затягивается. Ее возводят к рассказу об Уркубе из оазиса Хайбер, который обещал своему брату отдать плоды одной из своих пальм и затягивал выполнение обещания до тех пор, пока от плодов ничего не осталось.

102

…желанье в душе у Якуба. — Намек на 12-ю суру Корана, излагающую вариант библейской истории Иосифа. Когда пророк Якуб (Иаков) вновь обрел потерянного сына, в его душе больше не осталось желаний.

103

Кааба — см. примеч. 15 к макаме 1.

104

Медресé — высшая мусульманская школа при мечети.

105

Калам — см. примеч. 42 к макаме 5.

106

Фа́ких — законовед-теолог.

107

Фикх — мусульманское законоведение.

108

…*молоко из своей груди не станет сосать* — т. е. не снизойдет до «неблагородного» ремесла кормилицы (выражение употребляется как пословица).

109

…*войско войском побить* — т. е. смешать одно с другим; иное толкование: пустить в ход и верхние и нижние зубы.

110

…и в тучах, славя Аллаха, гром громыхает. — Цитата из Корана (сура 13, ст. 14).

111

…*к блаженству стал призывать*… — Формула призыва к молитве содержит слова: «Спешите на молитву, спешите к блаженству!»

112

Синджар — город в Курдистане, близ Мосула.

113

…яства, что берутся одной рукой… — т. е. суп и другие жидкие блюда.

114

…те, что не съешь без участья руки другой — т. е. птица, жаркое и т. п.

115

…*не будь Кударом среди самудян.* — Самудяне — племя, которое, согласно легенде, было истреблено Аллахом за отказ подчиниться пророку Салиху (Коран, суры 91 и 11, ст. 64—71). Кудар — «самый злосчастный из самудян» — подрезал сухожилия священной верблюдице, приведенной Салихом.

116

…кто мертвецов из могил поднимает… — т. е. Аллах. Намек на день Страшного суда.

117

Вавилон издавна считался городом магов (Коран, сура 2, ст. 96).

118

Дауд. — Имеется в виду библейский Давид, имя которого не раз упоминается в Коране.

119

Ма́абед — известный певец и лютнист при дворе Омейядов (конец VII — начало VIII в.).

120

Мосулец — Исхак ибн Ибрахим аль-Маусыли, известный певец и музыкант при дворе Харуна ар-Рашида (конец VIII — начало IX в.).

121

Зунáм — флейтист при дворе багдадских халифов (IX в.).

122

…точно море, что фараоново войско залило. — Намек на кораническую легенду (вариант библейской) о потоплении войска фараона.

123

Лучшего из людей сплетница тоже терзала… — Имеется в виду жена Абу Ляхаба, соплеменника Мухаммеда и злейшего врага его проповеди.

124

Насим — см. примеч. 30 к макаме 3.

125

Саму́м — очень сильный сухой, горячий ветер, поднимающий тучи песка.

126

Худ. — Согласно коранической легенде (сура 11), пророк Худ был послан Аллахом для проповеди истинной веры среди членов языческого племени ад.

127

Насибин — старинный город в Северной Месопотамии (к северо-западу от Мосула); в настоящее время не существует.

128

Верблюд махрийский. — Название этой породы верблюдов восходит к племени махра, жившему в Хадрамауте и славившемуся своими верблюдами.

129

Копье самхарийское — особо крепкое копье. Наименование возводят к названию города в Абиссинии, откуда копья вывозились, или к имени искусного мастера, занимавшегося их выпрямлением.

130

Вождь-покровитель — Кулейб ибн Рабиа (VI в.) — вождь объединения племен северных арабов, пользовавшийся неограниченной властью. Когда он объявлял, например, что животные той или иной территории находятся под его покровительством, никто не смел их трогать.

131

Сам пророк нам в полдень велит отдыхать… — Существует множество преданий, согласно которым пророк рекомендует спать в полдень, чтобы ночью вставать на молитву и чтобы легче выдерживать дневной пост в рамадан (см. примеч. 35 к макаме 4); в одном из преданий говорится: «Соблюдайте полуденный сон, ибо только шайтан в полдень не спит».

132

Омовение мы поскорей совершили… — Имеется в виду обязательное ритуальное омовение перед молитвой; *оба долга сполна уплатили* — т. е. совершили сразу две молитвы — полуденную и послеполуденную.

133

Отец собрания — стол с кушаньями.

134

Сын теста — хлеб.

135

Сикба́дж — мясо, отваренное с уксусом.

136

Хосров (Хосрой) — имя двух персидских царей из династии Сасанидов (III—VII вв.). В арабской литературе это имя употребляется как титул всех персидских царей вообще.

137

Хари́са — мясо с мелко толченной пшеницей.

138

Джауза́б — сладкое блюдо из мяса с рисом.

139

Хаби́с — смесь различных сластей.

140

Фалуз́дж — сладкое блюдо из муки с медом.

141

Отец омовения — кувшин с водой для омовения рук после еды.

142

Отец аромата — кадило с благовониями.

143

Самум — см. примеч. 125 к макаме 18.

144

Насим — см. примеч. 30 к макаме 3.

145

Мейяфарикин — город в Северной Сирии.

146

Кааба — см. примеч. 15 к макаме 1.

147

…*чьи руки будут сухими*… — т. е. кто поскупится дать что-нибудь (ср. примеч. 53 к макаме 7).

148

…*сколько летит стрела*… — «полет стрелы» — старинная бедуинская мера расстояния, составляет 100—150 м.

149

Рей — древний город в Северном Иране; от него сохранились развалины в 8 км на юго-восток от Тегерана.

150

Ибн Самун — Абу-ль-Хусейн Мухаммед Ибн Ахмед (X в.), знаменитый своим красноречием проповедник.

151

Сады блаженства — райские сады.

152

…*его усердие усмотрит Аллах!* — Слегка перефразированная цитата из Корана (сура 53, ст. 41).

153

Колоквинт — см. примеч. 21 к макаме 2.

154

Мурáр — вяжущее растение, от которого у верблюдов выворачиваются губы.

155

В тот грозный день… — Имеется в виду день Страшного суда.

156

И добро и зло твои будут взвешены на весах. — Намек на кораническое представление о взвешивании добрых и злых дел в день Страшного суда (см. суру 101, ст. 5, 6).

157

Сим, *Хам* и *Яфет* — дети пророка Ноя (Нуха), неоднократно упоминаемого в Коране. По мусульманским представлениям, Сим — родоначальник арабов, Хам — суданцев, Яфет — тюрок.

158

Амр ибн Убейд (VIII в.) — живший в Басре благочестивый аскет-проповедник, не боявшийся говорить правду в лицо даже халифу.

159

Ката — птицы семейства куропаток, совершающие длительные перелеты через пустыню; постоянно упоминаются в стихах средневековых арабских поэтов.

160

Город мира — Багдад — см. примеч. 94 к макаме 14.

161

Майда́н — площадь.

162

Калансу́ва — шапка конической формы.

163

Тайлас́ан — головной убор в виде шарфа, который надевают поверх чалмы или калансувы и оборачивают вокруг шеи, так что один конец спускается на грудь, а другой — на спину.

164

Джильбаб — широкая рубаха.

165

Вали — см. примеч. 70 к макаме 10.

166

Благодатные сады (сады блаженства) — райские сады.

167

Идж́за — поэтическое состязание, в котором участники импровизируют попеременно, строку за строкой, стихотворение на заданную тему.

168

Таджни́с — букв. «сроднение», по определению арабского теоретика литературы Ибн аль-Мутазза (IX в.), «состоит в том, что в стихе или в речи появляется слово, родственное с другим. Родство же первого со вторым выражается в том, что оно походит на него по сочетанию своих букв». При этом близость слов по корню и по смыслу не обязательна.

169

Раис — глава, вождь.

170

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

171

Ар-Руха — город в Северной Месопотамии (древнесирийская Эдесса, тур. Урфа).

172

Ас-Самáуваль ибн Адия (VI в.) — доисламский поэт, чье имя вошло в пословицу как символ верности обещанию: он сдержал данное другу слово (когда уже друга не было в живых) ценою жизни собственного сына.

173

Карадж (Кередж) — город на северо-западе Ирана.

174

Фу́та — одежда в виде куска грубой ткани, опоясывающего бедра.

175

Спасенье несли мои рыжие кони… — Под рыжими конями подразумеваются динары (см. примеч. 27 к макаме 3), а под гнедыми — копья.

176

Исам — приближенный слуга (хаджиб) хирского царя Номана ибн Мунзира (см. примеч. 208 к макаме 30), отличавшийся редким душевным благородством. Его воспел в стихах придворный поэт Номана ан-Набига, и с тех пор имя его вошло в пословицу как символ красоты души при низком происхождении или безобразной внешности.

177

Аль-Асмаи — см. примеч. 45 к макаме 5.

178

Джинновский — см. примеч. 83 к макаме 12.

179

Джу́бба — широкая верхняя одежда.

180

…*то Зейда, то Амра дурачу*… — т. е. то одного, то другого. Зейд и Амр — имена, постоянно встречающиеся в грамматических примерах у средневековых арабских филологов.

181

Ибн Су́ккара — Абу-ль-Хасан Мухаммед ибн аль-Хашими (ум. в 995 — слыл одним из остроумнейших поэтов аббасидской эпохи.

182

Джильбаб — см. примеч. 164 к макаме 23.

183

Как указывают биографы, аль-Харири, подобно многим другим арабским филологам, долго жил в пустыне среди кочевых арабов, которые считались хранителями не только древних традиций, но и чистоты арабского языка, поскольку уединенная жизнь бедуинов, среди которых было много поэтов и рассказчиков, исключала влияние на их традиции и язык неарабов — сирийцев, персов, коптов и др.

184

Ревущих купил я… и блеющих… целое стадо… — Здесь Харири употребляет характерные для бедуинской поэзии эпитеты-синонимы для понятий «верблюды» и «овцы». Рассказчик намекает также на то, что он хотел не просто погостить у бедуинов, а прожить среди них долгое время, как истинный кочевник.

185

Гайлан. — Имеется в виду знаменитый поэт-лирик Зу-р-Румма (696—735), во многих стихах воспевший свою возлюбленную Мейй.

186

Неспроста отрезал Каси́р свой нос? — Намек на легенду о гибели пальмирской царицы Зеббы (Зенобии), обманутой Касиром, слугой ее врага Амра. Касир, отрезав себе пос и уши, явился к Зеббе, пожаловался на хозяина, будто бы изуродовавшего его без вины, и попросился к ней на службу. Войдя в доверие к Зеббе, он впустил в ее крепость вражеское войско, и все защитники крепости были перебиты. Абу Зейд намекает, что аль-Харис должен иметь вескую причину, чтобы очутиться в столь незавидном положении.

187

Якуб — библейский Иаков, имя которого не раз упоминается а Коране. Здесь намек на 12-ю суру, излагающую вариант истории Иосифа (Юсуфа), проданного братьями в рабство.

188

Нáбига — известный арабский поэт второй половины VI — начала VII в. Здесь намек на одно из самых знаменитых стихотворений этого поэта, начинающееся словами: «Предоставь меня, Умейма, удручающей меня заботе и тягостной для меня ночи, звезды которой движутся так медленно!»

189

Ашаб — неразумно жадный житель Медины, имя которого вошло в пословицу.

190

Самум — см. примеч. 125 к макаме 18.

191

Ва́сит — город в Ираке, располагался между Куфой и Басрой.

192

Хан — постоялый двор для купцов.

193

Худжра — небольшая комната на постоялом дворе или при мечети.

194

Ифрит — см. примеч. 83 к макаме 12.

195

Зекат — см. примеч. 43 к макаме 5.

196

Ибрахим ибн Адхам (VIII в.) — известный в мусульманском мире аскет-проповедник родом из Балха.

197

Джабала ибн Айхам (ум. в 644 г.) — последний из царей династии Гассанидов (см. примеч. 20 к макаме 2).

198

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

199

…*поклялся горою Синаем*… — Намек на суру 52, ст. 1—3, в которой использован библейский сюжет беседы бога с Моисеем (Мусой). *Священная книга* — Коран.

200

Мухаммед (570?—632) — первый проповедник мусульманской религии, выступил как пророк единого бога — Аллаха; основатель первого мусульманского государства.

201

Имáм — предстоятель на молитвенных собраниях; перен. — руководитель.

202

…*приветствуют месяц молодой*. — Имеется в виду появление нового месяца, возвещающего начало праздника розговенья (см. примеч. 35 к макаме 4).

203

Бандж — индийская разновидность садовой конопли; из сока цветов этого растения изготовляется гашиш.

204

Аль-Бати́ха — болотистая местность в дельте Тигра в Евфрата между Васитом и Басрой.

205

…город, который выстроил аль-Мансур… — Багдад, столица аббасидского государства, выстроенная вторым халифом этой династии аль-Мансуром в 762 г.

206

Сур (Тир) — гавань на восточном побережье Средиземного моря (ныне на территории Ливана).

207

Сын дороги — конь.

208

Хирский царь ан-Номан — Номан ибн Мунзир (580—606), могущественный царь из династии Лахмидов, правивших в Хире — арабском доисламском буферном государстве (на территории Ирака) по границе с Ираном.

209

Семья (дети) Сасана — прозвище бродяг в нищих, восходящее к имени родоначальника 4-й династии персидских царей Сасана (см. примеч. 19 к макаме 2). Согласно народному сказанию, Сасан в юности был изгнан своим отцом Бахманом, ушел в горы к курдам, где собирались бездомные бродяги, и некоторое время прожил среди них, руководя ими. По свидетельствам путешественников, Каир действительно был местом сборища бродяг и воров; у них там был свой представитель, к которому можно было обратиться с просьбой о возвращении украденного.

210

Зекат — см. примеч. 43 к макаме 5.

211

Книга, ясно изложенная — один из эпитетов Корана.

212

…и тех, у кого в имуществе доля… — Цитата из Корана (сура 70, ст. 24—25).

213

О люди! Мы создали вас мужчиной и женщиной… — Цитата из Корана (сура 49, ст. 13).

214

Абу Ходил Клянчил ибн Просил, Побирала Умм Прилипала. — Слова «абу», «ибн», «умм», входящие в состав арабского имени, означают соответственно: «отец», «сын», «мать». Ср. примеч. 44 к макаме 5.

215

А коль недостаток вас страшит… — Перефразированная цитата из Корана (сура 9, ст. 28).

216

Сальсабиль — райский источник (Коран, сура 76, ст. 18).

217

Ар-Ра́мля — небольшой городок на сирийском побережье Средиземного моря. Одноименный город расположен на территории Палестины (см. макаму 45).

218

Черный камень — см. примеч. 15 к макаме 1.

219

Аль-Джухфа — название местности между Мединой и Меккой. Здесь паломники должны приготовиться к дальнейшим церемониям хаджжа, т. е. облечься в специальные белые одежды (ихрам), отказаться от всякого рода удобств и т. п. (см. примеч. 96 к макаме 14).

220

Ихрам — специальная одежда паломников в Мекку, состоящая из двух кусков простой белой ткани: одним *(изар)* человек опоясывает бедра; другой *(рида)* накидывает на плечи; при этом тело остается полуобнаженным.

221

Кааба — см. примеч. 15 к макаме 1.

222

Бритье, стрижка волос и ногтей входит в ритуал паломничества.

223

На горе Арафат близ Мекки паломники собираются перед жертвоприношением на девятый день месяца зу-ль-хиджжа и слушают проповедь имама.

224

Мина — долина близ Мекки, в которой совершается обряд жертвоприношения во время паломничества.

225

След Ибрахима — след на камне, на котором, по легенде, стоял пророк Ибрахим во время постройки Каабы (см. примеч. 15 к макаме 1 и примеч. 41 к макаме 5).

226

Хаджж — см. примеч. 95 к макаме 14.

227

Святой источник — священный колодец Земзем при храме Кааба.

228

Хаджи — паломник в Мекку.

229

Когда буква «лям» стоит перед буквой «алиф», они образуют лигатуру, переплетаясь друг с другом.

230

Азраил — ангел, приходящий за душами только что умерших.

231

Забид — город в Йемене на прибрежной равнине.

232

Локоть (зира) — мера длины, распространенная в средние века на мусульманском Востоке. Величина ее колеблется от 48,875 до 83,31 см.

233

…*монеты и того и другого цвета* — т. е. и золотые (динары) и серебряные (дирхемы).

234

Хосрой — см, примеч. 136 к макаме 19.

235

…*обитателем сада блаженства* — см. примеч. 151 к макаме 21.

236

Юсуф ибн Якуб — герой 12-й суры Корана, излагающей вариант библейской истории об Иосифе Прекрасном, проданном братьями в рабство.

237

Юсуф Правдивый — см. примеч. 236.

238

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

239

Сака́би — имя быстроногой лошади, принадлежавшей бедуину из племени темим, который дорожил ею настолько, что не хотел продавать ее никому ни за какую цену.

240

Хади́с — предание о словах пророка по тому или иному поводу или о поступках его в той или иной конкретной ситуации.

241

Я в одной, ты в другой долине. — Пословица, которая употребляется, когда между двумя людьми или между двумя мнениями очень большая разница.

242

Ведь в имени намек легко понять! — см. примеч. 237.

243

Касыда — см. примеч. 99 к макаме 14.

244

…потомки Якуба // Брата продали в рабство… — см. примеч. 236.

245

Я клянусь тебе Меккой… — см. примеч. 93 и 95 к макаме 14.

246

Кааба — см. примеч. 15 к макаме 1.

247

Марсия — элегия на чью-нибудь кончину.

248

Шираз — город в Южном Иране (обл. Фарс).

249

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

250

Фельс — мелкая медная монета.

251

Саада — город в Йемене.

252

Кади — см. примеч. 59 к макаме 8.

253

Тамимит — т. е. представитель племени тамим, славящегося своими нравственными достоинствами.

254

…*Сельман в семействе пророка* — перс-вольноотпущенник пророка Мухаммеда; считался принадлежащим к его семейству.

255

Джубба — см. примеч. 179 к макаме 25.

256

Хидр и Муса — пророки Илья и Моисей. Здесь намек на 18-ю суру Корана (ст. 76), в которой рассказывается о том, как Хидр и Муса пришли в какую-то деревню и попросили поесть, но жители деревни им отказали.

257

Кайситы — люди из племени кайс. В отличие от тамимитов они славились дурными нравами.

258

Гуль — оборотень.

259

Радва — пологая гора в священном городе Медине.

260

…чернила стал извергать мой калам… — т. е. когда я научился писать; другое объяснение: когда я достиг половой зрелости.

261

Адаб. — В средние века на мусульманском Востоке понятие «адаб» включало совокупность знаний, норм поведения и правил вежливости, которые считались необходимыми для каждого образованного человека; этим же словом обозначалась отрасль литературы — занимательное и поучительное чтение, чаще всего представленное антологиями коротких рассказов, стихов и изречений, из которых указанные выше знания и правила можно было извлечь.

262

Зекат. — См. примеч. 43 к макаме 5.

263

Мерв — древний город в Хорасане (ныне — территория советской Туркмении; руины в 30 км от г. Мары).

264

…мне предсказали птицы. — Гадание по полету птиц было распространено еще в доисламскую эпоху. Человек, задумав что-либо, находил птичье гнездо и вспугивал сидящую там птицу. Если птица летела направо, это означало положительный ответ, налево — отрицательный.

265

Майдан — см. примеч. 161 к макаме 23.

266

Хан — см. примеч. 192 к макаме 29.

267

Вали — см. примеч. 70 к макаме 10.

268

…*запылала голова сединой*… — Цитата из Корана (сура 19, ст. 3).

269

…*как страусу вовек не встретиться с китом* — т. е. как не встретится никогда сухопутное животное с морским.

270

Махрийские верблюды — см. примеч. 128 к макаме 19.

271

Оман — область на юго-востоке Аравийского полуострова, омываемая Аравийским морем.

272

В дни потопа владел им наш праотец Ной… — вариант библейской истории о Ное и потопе изложен в суре 11 Корана.

273

…*известная сура Корана* — см. примеч. 272.

274

Плывите в нем… — Цитата из Корана (сура 11, ст. 43).

275

Калам — см. примеч. 42 к макаме 5.

276

Увейс аль-Карани (VII в.) — один из наиболее уважаемых жителей Куфы, прославившийся аскетическим образом жизни.

277

Дубейс аль-Асади — современник аль-Харири, эмир г. Хилла (Ирак), известный своей щедростью.

278

Тебриз — город в Иране.

279

Кади — см. примеч. 59 к макаме 8.

280

Саджа́х — выступила как пророчица после смерти Мухаммеда (о нем см. примеч. 200 к макаме 29); сведений о ее личности и о содержании ее проповеди очень мало. Мусульмане объявили ее лжепророчицей.

281

Абу Сума́ма — Мусейлима, выступивший с проповедью единобожия еще при жизни Мухаммеда и подчинивший себе область Йемаму в Центральной Аравии. Мусульмане объявили его лжепророком и в 633 г. послали против него войско. Мусейлима и многие его сподвижники были перебиты.

282

…когда тебя к мужу ввели… — По мусульманскому обычаю, муж до свадьбы не видит невесту; во время свадебной церемонии лицо невесты скрыто густым покрывалом. Церемония заканчивается введением жены в комнату мужа. Здесь она снимает покрывало, и муж впервые видит ее лицо.

283

Глупее риджля — арабская поговорка. Риджль — растение из семейства портулаковых; считается «глупым», так как растет на берегах рек настолько близко к воде, что течение постоянно подмывает его корни и сносит с места.

284

Ширин — жена персидского царя из династии Сасанидов Хосрова II Парвиза (590—628), упоминаемая во многих восточных хрониках. Она славилась своей красотой и преданностью мужу. К IX—X вв. о любви Хосрова и Ширин сложился большой цикл преданий; они использованы Фирдоуси («Шах-наме») и Низами («Хосров и Ширин»).

285

Зебба — Зенобия (III в.) — пальмирская царица; при ней и правившем до нее ее муже Узейне Пальмирское царство достигло наивысшего политического могущества.

286

Буран — жена аббасидского халифа аль-Мамуна (813—833), славившаяся красотой, дочь одного из богатейших аббасидских наместников.

287

Балкис, чьим мужем был царь Сулейман… — Балкис (царица Савская) и царь Сулейман (Соломон) — библейские персонажи, легенды о которых известны в арабском фольклоре и нашли отражение в Коране (сура 27).

288

Зубейда (762—831) — жена аббасидского халифа Харуна ар-Рашида.

289

…*Ханса, оплакивающая брата…* — см. примеч. 92 к макаме 13.

290

Рабиа бинт Исмаил аль-Адавийя (ум. в 801 г.) — первая мусульманская женщина-подвижница.

291

Мать корейшитов — Хиндиф, или Лейла бинт Имран, жена одного из родоначальников североарабских племен — Ильяса ибн Мудара. Она очень гордилась своим потомством и впоследствии особо чтима была за то, что пророк Мухаммед, происходивший из североарабского племени корейш, был ее прямым потомком.

292

Мадир — известен своей скупостью, вошедшей в пословицу. Скупость его доходила до того, что он, напоив своих верблюдов из водоема, нарочно загрязнял воду испражнениями, чтоб ею не мог пользоваться никто другой.

293

…*ослицы Абу Дуламы сквернее*… — Абу Дулама (ум. в 786 г.) — негр-вольноотпущенник племени асад, придворный панегирист и шут первых аббасидских халифов. Его ослица безобразного вида, брызгавшая на окружающих мочой, вошла в пословицу.

294

Хасан аль-Басри (642—728) — знаменитый мусульманский аскет-проповедник, прославившийся ясным умом и исключительным красноречием.

295

Аш-Шааби Амир ибн Абдаллах (642—723) — знаток Корана и мусульманского предания, советник халифов.

296

Джарир ибн Атыйя (ум. в 733 г.) — придворный поэт омейядских халифов, особенно прославившийся своими сатирами.

297

Аль-Халиль — Абу Абд ар-Рахман Халиль ибн Ахмед аль-Басри (712—778), один из первых арабских филологов; установил систему арабской метрики.

298

Абд аль-Хамид ибн Яхья аль-Катиб (ум. в 750 г.) — секретарь последнего омейядского халифа Мервана II. Славился как великолепный оратор, знаток риторики, основоположник эпистолярного жанра в арабской литературе.

299

Кусс ибн Саида (VI в.) — знаменитый оратор доисламской эпохи, чье красноречие вошло в пословицу.

300

Абу Амр ибн аль-Ала (ум. в 770 г.) — один из первых арабских филологов, знаток грамматики арабского языка и коранических разночтений.

301

Аль-Асмаи — см. примеч. 45 к макаме 5.

302

Имам — см. примеч. 201 к макаме 29.

303

Ракят — определенный повторяющийся цикл молитвенных поз и формул. Каждая молитва состоит из установленного числа ракятов.

304

Динар — см. примеч. 27 к макаме 3.

305

Тиннис — город в Нижнем Египте.

306

Не хвали ночной переход до утра. — Пословица, аналогичная по значению таким, как «Цыплят по осени считают» и «Не говори гоп, пока не перескочишь» и т. п.

307

Хадрамаут — горная страна на юге Аравийского полуострова, омываемая Аравийским морем; славилась породистыми верблюдами (см. примеч. 128 к макаме 19).

308

Йемама — область в Центральной Аравии.

309

…*словно с птицей на голове*… — т. е. со спокойной, величавой осанкой.

310

Кааба — см. примеч. 15 к макаме 1.

311

Тихама — прибрежная полоса на Аравийском полуострове, тянущаяся от Синайского полуострова до Йемена.

312

Хадис — см. примеч. 240 к макаме 34.

313

…монашества нет в исламе. — Изречение, неосновательно приписываемое пророку Мухаммеду, усердно распространяемое противниками аскетизма.

314

Сунна пророка — букв, «путь, направление, образ жизни», мусульманское предание, касающееся преимущественно религиозных, юридических и моральных норм, возводимое к пророку Мухаммеду и его ближайшим сподвижникам; является одним из основных источников мусульманского права. Сунна состоит из множества хадисов (см. примеч. 240 к макаме 34).

315

Касыда — см. примеч. 99 к макаме 14.

316

Асы́да — густая мучная похлебка.

317

Лукман — легендарный мудрец, упомянутый в Коране (сура 31), рассказы о котором были известны и в доисламскую эпоху. Ему приписывается множество пословиц и изречений.

318

Рамля — город в Палестине к северо-востоку от Иерусалима. Одноименный город есть и в Сирии (см. примеч. 217 к макаме 31).

319

Вслед за хаджжем бы сразу и умру свершить… — Хаджж — паломничество в Мекку, приуроченное к празднику жертвоприношения (см. примеч. 93 и 95 к макаме 14). *Умра* — «малое паломничество» — посещение Мекки, которое не приурочено к определенному сроку и ритуал которого короче. Соединение большого и малого паломничества рекомендовалось мусульманам; эта рекомендация приписывалась обычно Абу Юсуфу Якубу аль-Ансари (731—798), авторитетному правоведу, занимавшему пост главного судьи в Багдаде при халифе Харуне ар-Рашиде.

320

Кади — см. примеч. 59 к макаме 8.

321

Узриты — южноарабское племя, чья верность и нежность в любви вошли в поговорку.

322

Ханса — см. примеч. 92 к макаме 13.

323

Абу Муса аль-Ашари — один из сподвижников пророка Мухаммеда. Вместе с известным полководцем Амром ибн аль-Асом был третейским судьей в споре за власть в Халифате между последним «праведным» халифом Али и его соперником Муавией (658 г.). Абу Мусе, как старшему, было предоставлено первое слово. Обиженный на Али, сместившего его с поста наместника Куфы, но в то же время не считая Муавию достойным Халифата, Абу Муса высказал мнение, что следует отказать обоим претендентам и предложить общине избрать достойного владыку. Тогда Амр, сторонник Муавии, заявил, что, поскольку Абу Муса считает своего патрона Али недостойным Халифата, он предлагает облечь высоким саном Муавию и, обманув таким образом Абу Мусу, добился успеха.

324

Алеппо (Халеб) — город в Северной Сирии.

325

Химс — город в Сирии на берегу реки аль-Асы (Оронт).

326

Калам — см. примеч. 42 к макаме 5.

327

Хамрийя — стихотворение анакреонтического содержания.

328

…*как оливу небесную*… — Намек на Коран (сура 24, ст. 35).

329

Рамадан — см. примеч. 35 к макаме 4.

330

Вазир — титул первого министра арабских халифов, вошедший в употребление в аббасидскую эпоху (с середины VIII в.).

331

Хаджр аль-Йемама — главный город провинции Йемама в Центральной Аравии.

332

…*Финда медлительней.* — Поговорка, которую возводят к рассказу о Финде, слуге Аиши, дочери одного из сподвижников пророка — Сада ибн Абу Ваккаса. Хозяйка послала его принести огня, он отправился в Египет и вернулся через год, неся уголек. Аиша стала его упрекать, он же ответил невозмутимо: «В торопливости нет добра».

333

…как цирюльник мадаинский… — Предание рассказывает о некоем цирюльнике, практиковавшем в аль-Мадаине (арабское название Ктесифона — бывшей столицы Сасанидов, недалеко от Багдада). У него бывали частые перебои в работе, и, чтобы его не упрекали в безделье, он при отсутствии клиентов пускал кровь своей матери, которая в конце концов и умерла от потери крови.

334

Кааба — см. примеч. 15 к макаме 1.

335

Ихрам — см. примеч. 220 к макаме 31.

336

Дирхем — см. примеч. 34 к макаме 4.

337

Александриец — Абу-ль-Фатх аль-Искандерани, герой макам предшественника аль-Харири, Бади аз-Замана аль-Хамадани (968—1007).

338

Передавал аль-Харис ибн Хаммам слова Абу Зейда… — Такое начало встречается только в данной макаме, которую аль-Харири сочинил первой.

339

Басра — город в Месопотамии, родина аль-Харири.

340

Имам — см. примеч. 201 к макаме 29.

341

…в отчий дом превратилась чужбина, как для Мухаммеда Медина. — Намек на хиджру (переселение) Мухаммеда из Мекки в Медину (тогда — Ясриб). Жители этого города стали ближайшими сподвижниками пророка.

342

Светлая ночь — ночь на пятницу.

343

Румийцы. — Так арабы называли византийцев.

344

Хотя и в стихах я совет тебе дал… — Намек на слова Корана о том, что поэтам следуют лишь заблуждающиеся (сура 26, ст. 221—226).

345

Братство Сасана — см. примеч. 209 к макаме 30.

346

Шис — один из сыновей Адама (в русской традиции — Сиф).

347

Якуб — см. примеч. 187 к макаме 27.

348

Касир — см. примеч. 186 к макаме 27.

349

Аш-Шаабби — см. примеч. 295 к макаме 40.

350

Амр. — Имеется в виду, очевидно, знаменитый полководец Амр ибн аль-Ас (ум. в 663 г.), под руководством которого арабы в VII в. завоевали Сирию и Египет.

351

Аль-Ахнаф (VII в.) — один из самых стойких сподвижников последнего «праведного» халифа Али, зятя Мухаммеда, в его борьбе с Омейядами.

352

Ияс — см. примеч. 57 к макаме 7.

353

Абу Нувас — знаменитый арабский поэт (762—813), прославившийся дерзкими стихами, в которых он воспевал вино и издевался над предписаниями ислама.

354

Абу-ль-Айна (ум. в 896 г.) — известный поэт и литератор.

355

…по полету птиц сумей предсказать… — см. примеч. 264 к макаме 38.

356

…не теряй на милость Аллаха надежду… — Цитата из Корана (сура 12, ст. 87).

357

Лукман — см. примеч. 317 к макаме 43.

358

«Мать Корана» — одно из названий первой суры Корана, которую все мусульмане знают наизусть.

359

Город ваш — воплощение чистоты… — Намек на то, что город Басра, основанный халифом Омаром, никогда не был языческим.

360

Ки́бла — направление в сторону священного города Мекки, куда должен обращаться лицом мусульманин во время молитвы. Здесь также намек на благочестие басрийцев.

361

…крыло из двух крыльев мира… — Арабские поэты мир представляли в виде птицы: телом ее был Аравийский полуостров, а крыльями — Египет и Нижняя Месопотамия, через которые прошли отряды арабов-завоевателей.

362

…не знала… храмов огня… — Намек на то, что другие города Месопотамии до арабского завоевания были населены язычниками-огнепоклонниками.

363

Милостивый — один из 99 эпитетов Аллаха (ср. примеч. 39 к макаме 5).

364

…*мудрец всех времен.*… — Имеется в виду известный филолог Абу Убайда (728—825), собиратель и редактор древних сказании «Дни арабов».

365

…кто основы грамматики заложил… — Имеется в виду один из первых арабских филологов — Абу-ль-Асвад ад-Дуали (ум. в 688 г.).

366

…*кто стихам размеры определил*… — Имеется в виду аль-Халиль (см. примеч. 297 к макаме 40).

367

Вы молитву в день Арафата установили — см. примеч. 223 к макаме 31. Басрийцы впервые имитировали это священнодействие в своем городе.

368

Час розговенья — сухур — конец поста (см. примеч. 35 к макаме 4).

369

Неджд и Тихама — области на Аравийском полуострове.

370

Зарка — легендарная женщина, которая замечала приближающихся врагов, когда они находились на расстоянии трех дней пути от места ее пребывания.

371

Шерстяной плащ — власяница, непременная принадлежность мусульманских мистиков — суфиев («суф» по-арабски значит «шерсть»).

372

Михраб — ниша в стене мечети, которая указывает молящимся сторону, куда они должны обращать взор.

373

Якуб — см. примеч. 187 к макаме 27.